

У М · Б Е Р Т О



МАЯТНИК
ФУКО



Умберто Эко
Маятник Фуко

«Издательство АСТ»

1988

Эко У.

Маятник Фуко / У. Эко — «Издательство АСТ», 1988

ISBN 978-5-271-38537-7

После выхода мирового бестселлера «Имя розы» (1980), прославленного знаменитым фильмом, итальянский историк, эстетик, структуралист Умберто Эко оказался в трудном положении. Как второй раз взять подобную высоту? Как сочинить не менее удачную книгу для разных читателей, и эрудированных и неискушенных? Книгу столь же живую, сколь и мудрую, столь же сардоничную, сколько и нежную? Автор рискнул – и подтвердил прежний рекорд. «Маятник Фуко» (1988) прославился не меньше «Имени розы», а фильм по нему не сняли только оттого, что автор сам не разрешил это великому Стенли Кубрику. На этих страницах взаимодействуют редакторы миланского издательства, рыцари-храмовники, жрецы вуду и антифашисты-партизаны. Рассказано и о легендарных тамплиерах, о тайных хозяевах мира, но только чтоб напомнить: история достоверна тогда, когда ее основа – неоспоримый документ. Все остальное – игра. Игра, которая бывает опасной. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

ISBN 978-5-271-38537-7

© Эко У., 1988

© Издательство АСТ, 1988

Содержание

I. Кетер	8
1	8
2	13
II. Хохма	19
3	19
4	24
5	27
6	34
III. Бина	36
7	36
8	39
9	43
10	45
11	49
12	53
13	58
14	68
15	75
16	79
17	84
18	88
19	92
20	99
21	106
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Умберто Эко Маятник Фуко

© RCS Libri S.p.A. – Milano Bompiani 1988—2010

© Е.Костюкович, перевод на русский язык, 1997, 2008, новая редакция перевода, 2011

© А.Бондаренко, оформление, 2011

© ООО “Издательство Астрель”, 2011 Издательство CORPUS ®

Единственно ради вас, сыновья учености и познания, создавался этот труд. Глядя в книгу находите намерения, которые заложены нами в ней; что затемнено сего, то проявлено овамо, да охватится вашей мудростью.

Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский,

Об оккультной философии.

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim,

De occulta philosophia, 3, 65

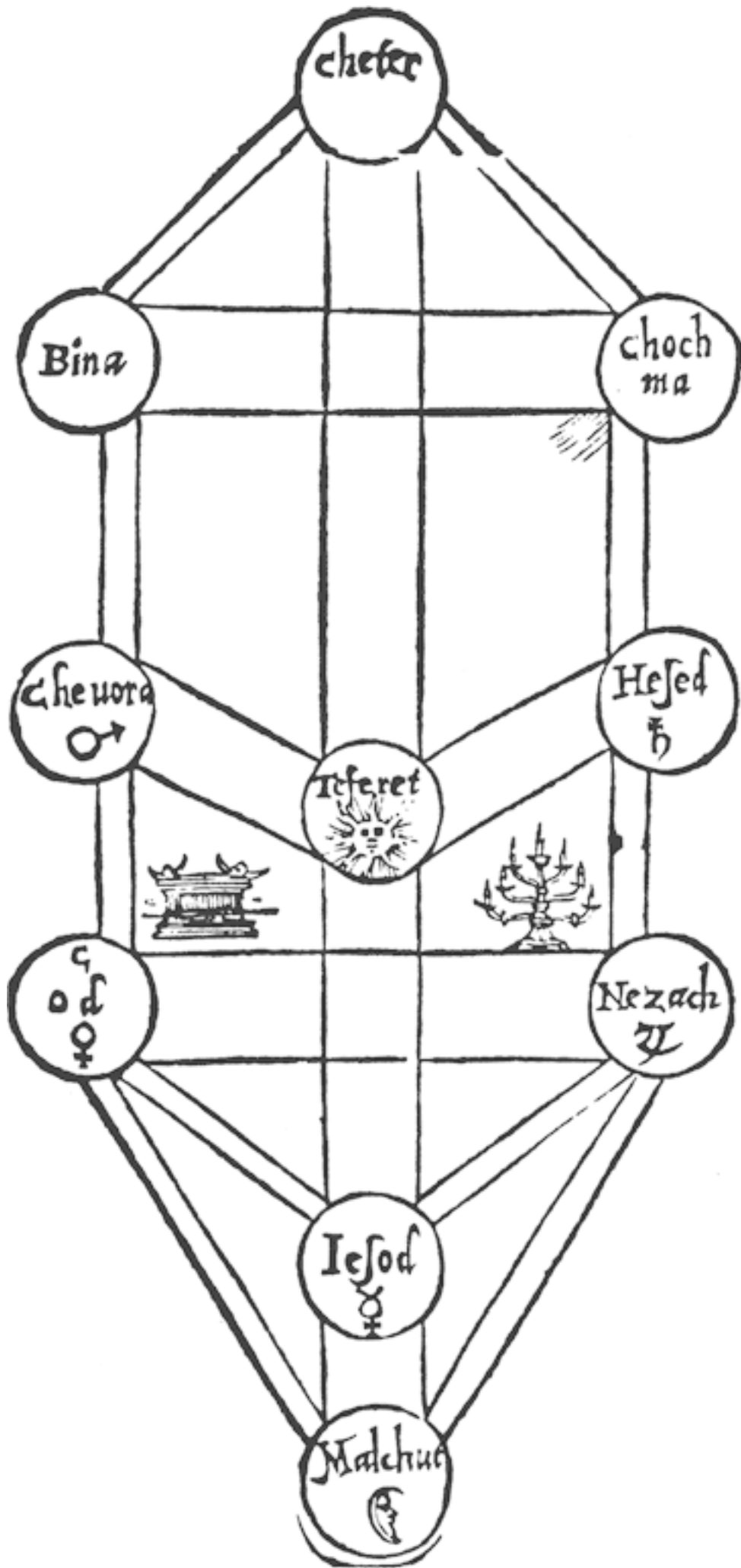
Суеверия не к добру.

Раймонд Смиллиан,

За пять тысяч лет до нашей эры.

Raymond Smullyan,

5000 B. C, 1.3.8.



I. Кетер

1

(ב) והנה בהיות אור הא"ם נמשך, בבחינת (ה) קו ישר תוך החלל הנ"ל, לא נמשך ונתפשט (ו) תיכף עד למטה, אמנם היה מתפשט לאט לאט, רצוני לומר, כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט, ושם תיכף (ז) בתחילת התפשטותו בסוד קו, נתפשט ונמשך ונעשה, כעין (ח) גלגל אחד עגול מסביב

1

И тут я увидел Маятник.

Шар, висящий на долгой нити, опущенной с вольты хора, в изохронном величии описывал колебания.

Я знал, но и всякий ощутил бы под чарами мерной пульсации, что период колебаний определен отношением квадратного корня длины нити к числу π , которое, иррациональное для подлунных умов, волей божественной Рацио неукоснительно сопрягает окружности с диаметрами любых существующих кругов, как и время перемещения шара от одного полюса к противоположному составляет результат тайной соотнесенности наиболее вневременных мер: единственности точки крепления – двойственности абстрактного измерения – троичности числа π – скрытой четверичности квадратного корня – совершенства круга.

Еще я знал, что в конце отвесной линии, проведенной от точки крепления, находящийся под маятником магнитный стабилизатор воссылает команды железному сердцу шара и обеспечивает вечность движения: это хитрая штука, имеющая целью перебороть сопротивление материи, но которая не противоречит закону маятника, напротив, помогает ему проявиться, потому что помещенный в пустоту любой точечный вес, приложенный к концу нерастяжимой и невесомой нити, не встречающий ни сопротивления воздуха, ни трения в точке крепления, действительно будет совершать регулярные и гармоничные колебания – вечно.

Медный шар поигрывал бледными переливчатыми отблесками под последними лучами, шедшими из витража. Если бы, как когда-то, он касался слоя мокрого песка на плитах пола, при каждом из его касаний прочерчивался бы штрих, и эти штрихи, бесконечно мало изменяя каждый раз направление, расходились бы, открывая разломы, траншеи, рвы, и угадывалась бы радиальная симметричность, костяк мандалы, невидимая схема пентакула², звезды, мистической розы. Нет, нет. Это была бы не роза, это был бы рассказ, записанный на полотнах пустыни следами несосчитанных караванов. Повесть о тысячелетних скитаниях; наверное, этой дорогой шли атланты континента Му, в угрюмой, упорной решительности, из Тасмании в Гренландию, от тропика Козерога к тропику Рака, с острова Принца Эдуарда на Шпицберген. Касаниями шара утрамбовывалось в минутный рассказ все, что они творили в промежутках от одного ледового периода до другого и, скорее всего, творят в наше время, сделавшись рабами Верховников; вероятно, перелетая от Самоа на Новую Землю, этот шар нацеливается, в апогее пара-

¹ И вот, свет Бесконечного (Эйн-Софа), простираясь в качестве прямой линии в вышеупомянутой пустоте, не простерся и не распространился сразу же до самого низа, а распространялся медленно и постепенно, а именно: луч света, начав распространяться в сокровенном качестве линии, простерся, вытянулся и сделался чем-то вроде колеса, единого, круглого и замкнутого со всех сторон... – Изложение мысли рабби Ицхака бен Шломо Ашкенази Лурия (1536–1572), известного под именем-аббревиатурой Ари, родоначальника нового течения в еврейской мистике – «лурианской» каббалы, принадлежащее его ученику Хаиму Виталю («Эц Хаим» – «Древо жизни», 1, 4 (древнеевр.). (Здесь и далее перевод цитат, кроме оговоренных случаев, выполнен Е. Костокович.)

² Пятиконечной звезды (лат.).

болы, на Агарту, центр мира. Я чувствовал, как таинственным общим Планом объединяется Авалон гиперборейцев с полуденной пустыней, оберегающей загадку Айерс Рок.

В данный миг, в четыре часа дня 23 июня, Маятник утрачивал скорость у края колебательной плоскости, безвольно отшатывался, снова начинал ускоряться к центру и на разгоне, посередине рассекал с сабельным свистом тайный четверугольник сил, определявших его судьбу.

Если бы я пробыл там долго, неуязвимый для времени, наблюдая, как эта птичья голова, этот копейный наконечник, этот опрокинутый гребень шлема вычерчивает в пустоте свои диагонали от края до края астigmatической замкнутой линии, мной овладела бы фабуляторная иллюзия и я поверил бы, что колебательная плоскость совершила полный оборот и возвратилась в первоначальное положение, описав за тридцать два часа сплюснутый эллипс – эллипс создавался обращением плоскости вокруг собственного центра с постоянной угловой скоростью, пропорциональной синусу географической широты. Как вращалась бы плоскость, будь нить маятника прикреплена к венцу Храма Соломона? Вероятно, Рыцари испробовали и это. Может быть, их расчет, то есть конечный результат расчета, не изменялся. Может быть, собор аббатства Сен-Мартен-де-Шан – это действительно истинный Храм. Вообще чистый эксперимент возможен только на полюсе. Это единственный случай, когда точка подвешивания нити расположилась бы на продолжении земной оси, и Маятник заключил бы свой видимый цикл ровно в двадцать четыре часа.

Однако это отступление от Закона, к тому же предусмотренное самим Законом, эта погрешность против золотой нормы не отнимала чудесности у чуда. Я знал, что Земля вращается и что я вращаюсь вместе с нею, и Сен-Мартен-де-Шан, и весь Париж со мною, и все мы вращались под Маятником, который действительно нисколько не изменял ориентации своего плана, потому что наверху, где он к чему-то был привязан, на другом конце воображаемого бесконечного продолжения нити, в высоту и вдаль, за пределами отдаленных галактик, – находилась невозмутимая в своей вековечности Мертвая Точка.

Земля двигалась, однако место, к которому прикреплялся канат, было единственным неподвижным местом вселенной.

Поэтому мой взгляд был прикован не столько к земле, сколько к небу, осиянному тайной Абсолютной Неподвижности. Маятник говорил мне, что хотя вращается все: земной шар, Солнечная система, туманности, черные дыры и любые порождения грандиозной космической эманации, от первых эонов до самой липучей материи, – существует только одна точка, ось, некий шампур, Занебесный Штырь, позволяющий остальному миру обращаться около себя. И теперь я участвовал в этом верховном опыте, я, вращавшийся, как все на свете, сообщая со всем на свете, удостоивался видеть То, Недвижное, Крепость, Опору, светоносное помрачение, которое не телесно и не имеет ни границы, ни формы, ни веса, ни количества, ни качества, и оно не видит, не слышит, не поддается чувственности и не пребывает ни в месте, ни во времени, ни в пространстве, и оно не душа, не разум, не воображение, не мнение, не число, не порядок, не мера, не сущность, не вечность, оно не тьма и не свет, оно не заблуждение и не истина.

До меня долетел пасмурный обмен репликами между парнем в очках и девицей, увы, без очков.

– Это маятник Фуко, – говорил ее милый. – Первый опыт провели в погребке в 1851 году, потом в Обсерватории, потом под куполом Пантеона, длина каната шестьдесят семь метров, вес гири двадцать восемь кило. Наконец, в 1855 подвешен тут, в уменьшенном масштабе. Канат протянут через нижнюю часть замка свода...

- А зачем надо, чтобы он болтался?
- Доказывать вращение Земли. Поскольку точка крепления неподвижна...
- А почему она неподвижна?

– Потому что точка... Сейчас я тебе объясню... В центральной точке... любой точке, находящейся среди других видимых точек... В общем, это уже не физическая точка, а как бы геометрическая, и ты ее не можешь видеть, потому что у нее нет площади. А то, у чего нет площади, не может перекошиться ни влево, ни вправо, ни кверху, ни книзу. Поэтому она не вращается. Следишь? Если у точки нет площади, она не может поворачиваться вокруг себя. У нее нет этого самого себя...

- Но эта точка на Земле, а Земля вертится...
- Земля вертится, а точка не вертится. Можешь не верить, если не нравится. Ясно?
- Мне какое дело...

Несчастливая. Иметь над головой единственную стабильную частицу мира, то ни с чем не сравнимое, что не подвержено проклятию общего бега – *panta rhei*, – и считать, что это не ее, а Его дело! Вслед за этим чета пошла прочь, он – обнимая свой справочник, отучивший его удивляться, она – волоча свой организм, глухой к сердцебиению бесконечности, и оба – никак не пытаясь закрепить в памяти опыт этой встречи, их первой и их последней – с Единым, с Эйн-Соф, с Невыказуемым. Сумев не пасть на колени перед алтарем Достоверности.

Я глядел с вниманием и страхом, и мне поверилось, что Якопо Бельбо прав. Всегдашние его дифирамбы Маятнику я привык списывать на бесплодное эстетство, злокачественное, которое медленно разъедало его душу и, бесформенное, перенимало форму его тела, незаметно перекодируя игру в реальность жизни. Однако если Бельбо был прав насчет Маятника, вероятно, он был прав и насчет всего прочего, – и был План, и был Всеобщий Заговор, и было правильно, что я оказался здесь сегодня, накануне летнего солнцестояния. Якопо Бельбо – не сумасшедший, ему просто привелось во время игры, через Игру, открыть истину.

Дело в том, что сопричастность Божескому не может продолжаться долго, не потревожив рассудок.

Тогда я постарался отвести взгляд, прослеживая дугу, которая, держась на капителях расставленных полукругом колонн, уходила, подпираемая гуртами свода, к ключу, повторяя уловку стрельчатой арки, умеющей опереться на пустоту (высшая степень лицемерия в статике!) и уговорить колонны, что они обязаны пихать вверх ребра свода, а ребрам, распираемым давлением замка, внушить, чтоб они прижимали к земле колонны. Однако свод еще хитрее, он является и всем и ничем, и причиной и следствием в равной степени. И при этом я моментально понял, что отворачиваться от Маятника, свисающего со свода, и размышлять вместо этого о своде – то же самое, что зарекаться от родников, но пить из источников.

Хор собора Сен-Мартен-де-Шан существовал лишь ради того, чтобы имел существование, в прославление Закона, Маятник. А Маятник существовал только потому, что существовал собор. Не сбежишь от бесконечности, – подумал я, – удирая к другой бесконечности, не убережешься от встречи с тождественным, пытаюсь отыскать иное.

По-прежнему не отрывая взгляд от ключа соборного свода, я стал пятиться, отступая шаг за шагом. За время, прошедшее с момента прихода, я детально заучил расположение зала, да и мощные металлические черепахи, патрулировавшие стены, постоянно маячили в углу поля зрения. Пропятившись весь неф до входной двери, я снова оказался под сенью грозных птеродактилей из проволоки и тряпок, зловещих стрекоз, неведомо чьей оккультной командой отправленных под потолок нефа. Они выступали метафорами знания, значительно более глубокими, чем, вероятно, замыслил дидакт, разместивший их в назидательной последователь-

ности. Трепетание насекомых и рептилий мезозоя. Аллегория бесчисленных миграций Маятника над поверхностью земли. Архонты³, извращенные эманации, они пикировали на меня, целясь археоптериковыми клювами, аэропланы Бреге, Блерио, Эно, вертолет Дюфо.

Посетитель Консерватория Науки и Техники в Париже, пройдя через двор восемнадцатого века и после этого несколько коридоров, вступает в древнюю аббатскую церковь, врезанную в комплекс более поздних зданий, как прежде она была облеплена со всех сторон строениями приората. При входе сразу перехватывает дух от странного союза горней запредельной стрелчатости с хтоническим миром пожирателей солярки и мазута.

Понизу тянется процессия самоходов, самокатов и паровых экипажей, сверху висят воздухоплавательные машины пионеров, одни предметы целы, другие ободраны, истрепаны временем, и все они вместе предстают под смешанным – естественным и электрическим – светом как будто в патине, в лаке коллекционной скрипки. Иногда сохраняется только скелет, шасси, наворот приводов и рукоятей и сулит неопишуемые пытки, так и видишь себя прикрученным цепями к этому смирительному ложу, вот-вот оно шевельнется, пойдет разрывать твоё мясо и рыться в жилах до полного и чистосердечного признания.

А за этой вереницей старых движков, ныне безвредных, с заржавелою душою, символов технологической суетности, – с левого фланга под надзором статуи Свободы, уменьшенного макета той, которую Бартольди спроектировал для другого мира, а ежели повернуться направо, статуи Паскаля, – над всем этим высится хор, и в пустоте хора вокруг метаний Маятника кружит и бьется бред сумасшедшего энтомолога: клешни, челюсти, усы, членики, крылья, ножки. Мавзолей механических мумий, готовых проснуться вдруг все совокупно: магниты, однофазные трансформаторы, турбины, преобразователи частот, паровые машины, динамо. А в глубине за Маятником, в затененном трансепте, – ассирийские, халдейские, карфагенские идолы, великие Ваалы, чье чрево беременно пламенем, нюрнбергские девы, чье сердце усеяно гвоздями, оголено. Когда-то они были моторами самолетов. Хоровод моделей, распластавшихся в рабском обожании Маятника: се детища Разума и Света, приговоренные вечно оберегать Воплощение Предания и Познания.

Скучающие туристы, несущие девять франков в кассу, а по воскресеньям идущие бесплатно, могут подумать, что господина девятнадцатого века с бородами, желтыми от никотина, с воротничком засаленным и мятым, с бантом черного цвета, в рединготе, пропахшем понюшками, с руками, потемневшими от щелочей, с мозгами, окисленными в академических интригах, карикатурные существа, зовущие друг друга «*cher maître*», разместили эти предметы под этим сводом из чистой любви выставяться, ради убоготворения буржуазного и интеллигентского сословий, во славу достижений знания и прогресса... Нет, нет, Сен-Мартен-де-Шан был запланирован, и на этапе аббатства, и на этапе революционного музея, для хранения сверхсекретных данных, и самолеты, самоходные машины и магнитные скелеты, согласно заданию, ведут условный диалог, к которому я до сих пор не имею ключа.

Неужели предполагалось, что я поверю, – как лицемерно подзуживал каталог музея, – что замечательная идея принадлежала господам из Конвента, а целью их было – приобщить массы к святилищу техники и ремесел? Притом что проект музея во всех мельчайших деталях, да даже и в терминологии, совпадает с описанием Соломонова Дома в «Новой Атлантиде» Фрэнсиса Бэкона?

Может ли быть, что только мы (я, и Якопо Бельбо, и Диоталлеви) распознали истину? Сегодня мне, вероятно, предстояло получить ответ. Для этого надо было остаться в музее после его закрытия и дожидаться двенадцати часов ночи.

³ Враждебные Богу и человеку духи – мироправители, слуги дьявола (*термин гностиков*).

Как войдут в собор Те – мне было неизвестно. Но я знал, что коллекторы парижской канализации – это катакомбы. Значит, и музей сообщается с разными концами города – войдешь тут, а вынырнешь у ворот Сен-Дени. Но если бы сейчас вышел, то вряд ли сумел бы найти подземный ход обратно. Так что для меня единственное решение – спрятаться и ожидать здесь.

Я попробовал выпасть из романтического транса и проинспектировать помещение чисто практически, ища не откровения, а информации. Начнем с того, что в соседних залах еще труднее найти место, защищенное от внимания зрителей (а в их обязанности входит, перед закрытием, проверять залы на предмет затаившихся воров). Но в этом нефе, заставленном машинами, что может быть естественнее, чем угнездиться пассажиром в какой-нибудь из них? Обжиться в мертвом панцире. Мы так много играли, что глупо не поиграть еще немножко.

Смелей, душа, сказал я, не думай больше о Знании и доверяйся Науке.

2

У нас есть странные и редкие часы, и часы, идущие обратно, и вечные... У нас есть и Каморы обмана чувств, где любые чудеса Фиглярства, и Мнимых Видений, Мороков и Блазнов... Таковы, о сын, богатства Дома Соломона.

Фрэнсис Бэкон, Новая Атлантида.
Francis Bacon, New Atlantis,
ed. Rawley, London, 1627, p. 41—42

Я взял себя в руки. В эту игру следовало играть с тем же юмором, как до сих пор, не вовлекаясь. Я в музее, и я доиграю свою рольку по возможности остро, умно, хитро.

В вышине самолеты зазывали влезть в кабину биплана и дожидаться ночи, паря над Ла-Маншем, предвкушая Почетный легион. Внизу имена машин напоминали прадетство. «Испано-Сюиза» 1932 года – само совершенство, удобство. Не годится... Слишком уж близко к кассе. Хорошо бы, конечно, для обмана зрителя напялить брюки-гольф, застыть, придерживая дверцу автомобиля перед дамой в кремовом английском костюме, с длинным шарфом на лебединой шее, в шляпе раструбом, со стрижкой под мальчика. «Ситроен С-6G» 1931 года имелся только в разрезе, прекрасная учебная модель, но никудышное укрытие. О паровой машине Кюньо речи не шло – она целиком состояла не то из бака, не то из котла, бог весть как называется эта штука. Правая стена была заставлена велосипедами на фигурных колесах, дрезинами с плоскими рамами, самокатами, отрадой господ в высоких цилиндрах, раскатывающих по Булонскому лесу, этих рыцарей прогресса.

Перед велосипедами – солидные автомобили, бесподобные убежища. Не обязательно первый попавшийся. Непригоден «Панар Динавия» 1945 года, слишком сквозной, приплюснутый, аэродинамический, точеный. А вот высоченная «Пежо» 1909-го как раз вполне подошла бы: гарсоньерка, альков. В глубинах ее кожаных диванов никто бы меня не нашел. Но трудно в нее забраться, зритель уселся у дверцы, на скамеечке, спиной к бициклетам. Шагнуть бы на подножку, раздвигая полы шубы, и пусть он, в обтяжных по колено гетрах, почтительно сдернув кепку, подержит мне тяжелую дверь...

Я рассмотрел кандидатуру «Обеиссана» 1873 года: первое французское транспортное средство на механическом ходу, дюжина пассажиров. Если «Пежо» мы принимаем за шикарную квартиру, «Обеиссан» может считаться дворцом. Но как же в нем замаскироваться, если это центр общего внимания? И вообще как можно прятаться, если вокруг сплошная экспозиция?

Я снова обошел залу. Статуя Свободы высилась, «озаряя весь мир», на почти двухметровом пьедестале – на мощном корабельном носу, оборудованном ростром. Внутри было что-то вроде рубки, где через иллюминатор, проделанный в носу, можно было любоваться диорамой Нью-Йорка с залива. Прекрасный наблюдательный пункт для ночного времени. В полутьме мне будут видны весь хор слева и весь неф справа, с тыла меня прикроет огромный каменный памятник Грамму, вглядывающийся в дальние коридоры из своей ниши-трансепта. Но при свете дня внутренность рубки отлично просматривалась, и любой нормальный сторож, выпроводив посетителей, перед тем как закрывать, просто обязан бросить взгляд именно сюда.

Времени было немного. В полшестого закрывали. Я углубился в часовенку-трансепт. Ни один из моторов не мог дать укрытия. Ни гигантские топки четырехпалубных судов – останки какой-нибудь «Лузитании», давно ушедшей в пучину, – ни газовый двигатель Ленуара, весь в зубчатых передачах. Нет. Свет убывал и совсем водянисто сочился в серые витражи, и опять, сильнее чем прежде, мне становилось страшно: спрятаться на ночь среди этих тварей и потом наблюдать, как они оживают в темноте, под лучом электрического фонарика, слушать земно-

родное бульканье их утроб, видеть кости и требуху без кожи, скрипучие и склизкие от масляного пота. Меня поражала непристойность этой картины: гениталии дизелей, вагины турбин, глубокие глотки, готовые изрыгать огни, дымы, шумы; чудища, надоедливо жужжащие, как майские жуки, стрекочущие, как цикады, а по другую руку – образцы чистейшей абстрактной практичности, автоматы мнущие, жнущие, толкущие, бьющие, нарезающие, ускоряющие, замедляющие, пожирающие, рыдающие всеми цилиндрами, развинчивающиеся на части, как кошмарные куклы, ворочающие барабанами, преобразующие частоты, трансформирующие энергию, трясущие маховиками... Какое мне было спасенье? Они напали бы на меня, науськиваемые Верховниками Мира, которые их используют для доказательства тезиса об ошибке творца. Бедные бессмысленные механизмы, столь ценимые бедными повелителями нижнего мира. О, мне-то как надеяться устоять, не дрогнув?

Надо бежать, надо бежать, это сумасшествие, я ввязался в игру, через которую Якопо Бельбо потерял разум, зачем же я, «Фома недоверчивый»...

Не знаю, правильно ли я поступил вчера, оставшись в этом зале. Если бы не остался, сегодня я знал бы начало истории, но не знал бы конца. И не сидел бы здесь, один, в домике на всхолмье, не вслушивался в тьяканье псов внизу под горою, не решал бы вопрос: так знаю я конец этой сказки или концу еще предстоит случиться – случиться со мною?

Итак, я решил оставаться. Я вышел из капеллы, а потом и из церкви. За памятником Грамму двинулся влево, в галерею. В галерее была выставка паровозов, разноцветные модели локомотивов и вагонов стояли жизнерадостные, как игрушки: уголок Диснейленда, Страны Дураков, луна-парка. Я, похоже, привыкал к смене собственных настроений. Ужас, эйфория, тоска, снова облегчение... подозрительно похоже на известный синдром... МДП. Я втолковывал себе, что столь острая реакция на зрелище машин в церкви объясняется тем, что я начитался записей Бельбо, которые удалось расшифровать с огромными трудами и которые, невзирая на мои труды, – бред. Здесь музей техники, бормотал я, я в музее техники, самое нормальное место, немножко занудное, но не более того. Коллекция безобиднейших трупов, говорил я себе: ты же знаешь, что такое музеи, никого еще не съела Джоконда, эта уродина-гермафродит, хотя для снобов она и Медуза. И еще меньше шансов, что тебя съест паровоз Уатта, его боялись только оссианические, неоготические аристократы, и поэтому у машины такой межеумочный вид: функциональность с коринфским шиком, рычаги с капителями, котлы с колоннадой, колеса с порталами. Якопо Бельбо из своего непрекрасного далека норовил затащить меня в мышеловку, погубившую его самого. Надо, сказал я себе, действовать по науке. Вулканонологи не сгорают, как Эмпедокл. Фрэзер не заблудился в Немейском лесу. Ты станешь Сэмом Спейдом, приятель. Маленькая прогулка по трущобам, такая у нас работенка. Женщина, которая тебя зацепила, в конце истории умрет, и прикончишь ее ты. Прощай, Эмили, детка, это было прекрасно, ты бессердечный автомат.

Однако за паровозной галереей следовал зал Лавуазье, после которого парадная лестница вводила на следующие этажи.

И все витрины по стенам, и алхимический алтарь по центру, изысканная макумба века Просвещения, – все здесь стояло не случайно, все было результатом специальной символической стратагемы.

Во-первых, засилье зеркал. Если имеется зеркало, это уж просто, по Лакану: вам хочется посмотреться в него. Но ничего не выходит. Вы меняете положение, ищете такое положение в пространстве, при котором зеркало вас отобразит, скажет: «Вот ты, ты тут». И совершенно невозможно примириться с тем, что зеркала Лавуазье, выпуклые, вогнутые и еще бог весть какие, отказываются вести себя нормально, издеваются над вами. Отступите на шаг – и вы

в поле зрения. Шагнете хоть чуть-чуть – и теряете себя. Этот катоптрический театр создавался специально для разрушения вашей личности, то есть вашего самоощущения в пространстве. Вам как будто внушают: вы не только не Маятник, вы и не там, где Маятник. Появляется неуверенность не только в себе, но и во всем остальном. Исчезают вполне реальные вещи, расположенные в пространстве между вами и зеркалом. Разумеется, физика способна объяснить, что происходит: вогнутое зеркало фокусирует лучи, исходящие от предмета. Сейчас этот предмет перегонный куб на медном чане. А нормальное зеркало отражает получаемые из вогнутого лучи таким образом, что собственно предмета, очертаний его, в зеркале не видно, а ощущается нечто призрачное, мимолетное и к тому же перевернутое вверх ногами, где-то в воздухе, вне зеркала. Разумеется, стоит пошевелиться, и эффект пропадет.

Взамен эффекта я увидел себя самого во втором зеркале. Вниз головой.

Невыносимо.

Что имел в виду Лавуазье, чего требовали от него основатели музея? Со времен арабского Средневековья, с трактатов Альгазена изучена магия зеркал. Стоило ли городить огород – Энциклопедия, век Просвещения, Революция, – чтоб продемонстрировать: любое изогнутое стекло способно спровадить вас в Воображаемость. Да и нормальное зеркало способно сгладить. Каждое утро за бритьем мы глядим в глаза Двойнику, обреченному пожизненному левше. Стоило ли оборудовать зал для такого скромного сообщения? Или нам что-то недоговаривают и следует в новом свете рассмотреть все попутное – витринки, инструменты, приуроченные к зачаточной физике, к химии просветительства?

Кожаная маска для защиты лица во время опытов по известкованию. Да неужто? Неужто великий повелитель подколпачных свеч напяливал эту баутту и глядел помойною крысой из-под скафандра: инопланетянин боится повредить глаза? Oh, how delicate, doctor Lavoisier. Если вы хотите разработать кинетическую теорию газа, зачем так тщательно воссоздаете эолипилу – краник на шарике, который от нагрева вертится и выбрасывает пар? Разве мы не знаем, что первая эолипила была изобретена Героном во времена Гнозиса и что она и есть секрет говорящих статуй и прочих хитроумий египетских жрецов?

А прибор для наблюдения гнилостного брожения, 1789, напоминание о зловонных выблядках Демиурга? Переплетение стеклянных трубок, восходящих из пузыревидного лона к перепутанным сосудам и сочленениям, – семенные пути на узких вилочках-подпорах между двумя колбами, из одной в другую держит путь призрачная жидкость, тонкие дренажи расширяются в пустоту... Гнилостное брожение? *Valneum Mariae*, сублимация Меркурия, таинство совокупления, сотворение Эликсира!

Вот еще один прибор для брожения, на этот раз винного. Игра хрустальных радуг, переброшенных от атанора к атанору, выходящих из одного перегонного куба и в другой куб впадающих. А крошечные очки, миниатюрная клепсидра, малюсенький электроскоп, линза, лабораторный ножик, похожий на клинописную литеру, лопаточка с рычагом-выхлопом, стеклянное лезвие, тигелек в три сантиметра из огнеупорной глины, чтоб плодить в нем гомункулов росточком с гнома, неразличимых размеров матка для микроклонирования, ларцы красного дерева, полные белых пакетиков, похожих на облатки в деревенской аптеке, завернутые в линованный пергамент с неразборчивыми надписями, и в этих пакетиках – минералогические образчики, так обычно говорится, а на самом деле – обрывок Василидовой плащаницы, ковчежец с крайней плотью Гермеса Трисмегиста, длинный, тонкий молоточек мебельного обойщика, которому назначено отстучать сигнал к стремительному дню Страшного Суда, аукцион квинтэссенций для публики Малого Народа Эльфов Авалона, замысловатейший приборчик для опытов по сгоранию масел: стеклянные шары, сращенные, как лепестки четырехлистника, и соединенные с другими четырехлистниками, связанными между собой золотыми трубками, и четырехлистники с трубками из хрусталя, и с медными цилиндрами, под которыми – очень далеко внизу – еще другой цилиндр из стекла и золота, и новые трубки, опять

свисающие вниз, и от них отростки, железы, мошонки, гланды, гребни... И это химия нового времени? И за это надо было гильотинировать изобретателя, притом что вроде бы материя не образуется и не исчезает? Или все-таки его убили, чтоб он не мог никому рассказать то, что старался высказать в завуалированном виде, подобно быстрому разумом Невтону, который в свою очередь больше всего интересовался каббалой и ее качественными сущностями?

Зала Лавуазье Консерватория Науки и Техники – это исповедь, шифровка, это резюме остального музея, насмешка над самоуверенной и жесткой рациональностью нового времени, шепоток иных тайн. Якопо Бельбо был прав, Разум был крив.

Я торопился, время поджимало. Вот метр, килограмм и меры – иллюзия гарантированных гарантий. Но я помнил из лекций Алье, что тайна пирамид раскрывается, только если вести подсчеты в локтях, а не в метрах. Вот арифметические машины, по виду – триумфы количественности, на самом же деле – прославление оккультной качественности цифр, возврат к принципам Нотарикона⁴, к учению раввинов, рассеянных по городам и весям Европы. Астрономические приборы, часы, автоматы. Беда – вдумываться в эти новые откровения. Я проникал в сердцевину тайного текста, представленного в форме Театра Разума. Хорошо, успеется. Я еще обследую от закрытия до полуночи эти экспонаты, которые в мутных заходящих лучах восстановят свой подлинный облик. Облик образов, а не орудий.

Так, теперь скорее через залы разных видов техники, энергии, электричества, все равно за их витринами не удалось бы мне укрыться. Чем лучше я постигал или угадывал смысл этих вещей, тем большая тоска меня охватывала, поскольку я не успевал найти укрытие, чтобы ночью присутствовать при проявлении их таинственных сущностей. Теперь я мчался, как загнанный. Вслед за мною, как зверь, летела стрелка часов. Ужасающе рос счет. Земля неотвратимо обращалась. Время перло вперед, и меня вот-вот должны были отсюда выгнать.

Наконец, миновав галерею электрических устройств, я попал в зал стекла. Какая странная логика потребовала, чтобы в дополнение к самым дорогостоящим и сложным чудесам современной техники там находилась и выставка древнего стекла, известного еще финикийцам? Зала подходила под определение «с миру по нитке»: китайский фарфор и вазы-андрогины Лалика, керамика, майолика, фаянс, муранское стекло, а в глубине, в гигантских размерах витрины, в натуральную величину и в трех измерениях, лев, убивающий змею. Формально присутствие этого экспоната оправдывалось, скорее всего, тем, что группа целиком была выполнена из стеклянной пасты, но эмблематический смысл коренился, надо думать, в ином... Я попытался вспомнить, где я уже видел эти фигуры. Потом я вспомнил. Демиург, отвратительное порождение Софии, первый из архонтов, Илдабаот, ответственный за этот мир и за его основные недостатки, имел именно этот облик – змеи и льва, и очи его испускали огненный свет. Можно предположить, что и весь Консерваторий является символическим отображением мерзкого процесса, при котором от полноты первопринципа – Маятника – и от сиятельности Плеромы, от зона к зоне, по мере расщепления Огдоада, все переходит к космическому царству, в котором торжествует Зло. Однако в этом случае и змея и лев свидетельствовали, что мое хождение по музею – инициация – к сожалению, à rebours⁵ – было окончено, и вскоре мне предстояло увидеть мир не таким, каким он должен быть, а таким, каков он есть.

И действительно я заметил, что в правом углу, напротив окон, открывается вход в будку Перископа. Я поднялся в нее и увидел большую стеклянную пластину, как бы экран командного пульта, на котором расплывалось изображение (крайне нечеткое) города с высоты. Вслед за этим я понял, что изображение передается с другого экрана, расположенного у меня над

⁴ *Нотарикон* (от *лат.* notarius – стенограф) – истолкование слова как аббревиатуры, за каждой буквой которой скрывается другое слово; один из «трех великих путей каббалы». (*Здесь и далее – прим. перев.*)

⁵ В обратном порядке (*фр.*). Также название романа Ж.-К. Гюисманса (1884), герой которого скрывается от реальности в сон.

головой, куда оно поступает в зеркальном виде, и этот второй экран – окуляр допотопного перископа, сложенного, в сущности говоря, из двух кожухов, совмещенных под прямым углом, из которых более длинный вытягивался из будки и продолжался у меня над головой и за спиной, доходя до верхнего окошка, из которого, за счет внутренней игры линз, позволявшей очень широкоугольный обзор, и ловились картины внешней жизни. Я прикинул свои перемещения после входа в музей и в будку и пришел к выводу, что при помощи перископа мы смотрим будто сквозь верхние витражи абсиды Сен-Мартена – как бы вися на Маятнике. Мир глазами повешенного. Я постарался приспособить глаз к размытому изображению. Можно было различить улицу Вокансон, куда выходил хор, и улицу Конте, в идеальном смысле продолжавшую неф. Улица Конте пересекалась с улицей Монгольфьер слева и с улицей де Тюрбиго справа. На том и на другом углу по кафе, «Уикенд» и «Ротонда». А напротив – вывеска, бросающаяся в глаза на фасаде дома. «Ателье Жакзам», с трудом прочитал я справа налево. Перископ. Не совсем очевидно, почему он должен был быть в стекольном зале, а не, скажем, в зале оптических приборов. Значит, для кого-то имело значение, чтобы образы внешнего мира приходили именно сюда, в это помещение, и именно с этой ориентировкой. Но кому и зачем – я не мог догадаться. Кому понадобилась эта каютка, позитивистская, жюльверновская, напротив многозначительной эмблемы – змеи и льва?

В любом случае, если мне хватит силы и смелости просидеть здесь еще двадцать – тридцать минут, может быть, зритель уйдет, а я останусь.

Я провел в своей субмарине полчаса, показавшиеся веком. Слышались шаги последних посетителей, шаги последних сторожей. Велико было искушение залезть под лавку, чтоб избежать случайного обнаружения, но я сказал себе: ни в коем случае. Если меня заметут в стоячем положении, я смогу сойти за заглазевшегося растяпу.

Вскоре погасили свет и воцарилась полутьма. В будке сделалось светлее, потому что с потолка отсвечивал экран, мой последний канал связи с миром.

Осторожности ради я должен был оставаться на месте, стоя, а если заболят ноги – сидя, по меньшей мере два часа. Время закрытия музея, конечно, не означает конца работы служащих. Меня взял страх: что, если придут мести залы, перетирать каждый экспонат? Потом я подумал, что так как музей открывается не самым ранним утром, скорее всего его убирают в утренние, а не в ночные часы. Видимо, так и было. По крайней мере на верхних этажах теперь не ходил никто. Только какие-то дальние шорохи. Сухие щелчки. Вероятно – хлопяемые двери. Надо было ждать. В церковь я успею перейти между десятью и одиннадцатью или даже позже, поскольку Верховники соберутся только к полуночи.

Тем временем компания молодежи вышла из кафе «Ротонда». Одна из девушек направилась по улице Конте, повернула на Монгольфьер. Место было не слишком оживленное, и предстояло довольно нудное времяпрепровождение: час за часом созерцать безлюдный мир у себя за плечами. Но все-таки перископ был зачем-то установлен здесь. Какое же зашифрованное сообщение мог он передавать? Мне начинало хотеться в уборную, разумеется, от нервов, не надо об этом думать, и все дела.

Чего только не лезет в голову, когда вы один, нелегально, в перископе. Примерно то же переживали подпольные эмигранты в трюме парохода. Мне, как и им, предстояло пробиться к статуе Свободы с диорамой Нью-Йорка. Одолевала дремота. Может быть, и вправду стоило немного поспать. Хотя лучше не надо, а не то просплю все на свете.

Еще опаснее было предощущение нервного срыва, то есть когда вот-вот завопишь как резаный. Перископ, подлодка, залегшая на дно, а слева и справа проскальзывают страшные глубоководные рыбы, черней черноты, а их не видно, а воздуха не хватает...

Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Надо собраться. Единственное, что не подводит никогда, – список дел. Вспомнить, чем необходимо заняться. Вспомнить мелкие дела,

составить перечень, со всеми подробностями, со всеми последствиями. Я пришел к необходимости таких-то действий на основании таких-то и сяких-то предпосылок...

Навалились воспоминания, детальные, четкие, упорядоченные. Воспоминания последних диких трех дней, потом – последних двух лет, потом – сорокалетней давности, в том виде, в каком они открылись, когда я вломился в электронный мозг Якопо Бельбо.

Я вспоминаю (вспоминал вчера) для того, чтобы ввести какой-то смысл в неразбериху нашего ошибочного творения. Сейчас, как и вчера в перископе, я устанавливаю себя в некоей отдаленной точке сознания и раскручиваю из нее рассказ. Точно как с Маятником. Диоталлеви говорил мне, что первая сефира⁶ – это Кетер, Венец, исходная точка, первоначальная пустота. Сначала Он сотворил точку, которая стала Мыслью, где Он начертал все фигуры... Он был, и Он не был, заточенный в имени и убежавший имени, не имел иного имени, кроме «Кто?», – одно только желание прозываться именем... В начале Он начертал знаки на воздухе, темный свет вышел из Его потаенной глубины, как бесцветный туман, дарующий форму бесформенному, и как только Он начал распространяться, в Его середине забили источники пламен, и пламена разлились и озарили нижние сефирот вплоть до самой нижней сефиры Царства.

Однако, может быть, и в том «цимцум»⁷, в том уединении, в одиночестве уже содержалось, как утверждал Диоталлеви, обещание возвращения.

⁶ *Сефира* (ми. ч. – *сефирот*, «числа») – центральная идея каббалы, каждое из десяти предвечных «чисел», «имен», фаз эманации, образующих область проявлений Бога в различных его атрибутах. Совокупность десяти сефирот образует «древо жизни» (см. рисунок на стр. 10), понимаемое как динамическое единство, в котором раскрывается жизнедеятельность Бога и которое задает ритм Творения.

⁷ *Цимцум* (древнеевр. «сжатие») – ключевое понятие лурианской каббалы, процесс сокрытия, самоограничения, высвобождения некоего пространства в Боге, в пределах этого пространства творится мир.

II. Хохма

3

In hanc utilitatem clementes angeli saepe figuras, characteres, formas et voces invenerunt proposueruntque nobis mortalibus et ignotas et stupendas, nullius rei iuxta consuetum linguae usum significativas, sed per rationis nostrae summam admirationem in assiduam intelligibilium pervestigationem, deinde in illorum ipsorum venerationem et amorem inductivas⁸.

Йоганн Рейхлин. О каббалистическом искусстве.

Johannes Reichlin. De arte cabalistica, Hagenhau, 1517, III

Все закрутилось за два дня до того, утром в четверг, я еще не вылезал из постели. Накануне я вернулся из-за города, звонил в издательство, Диоталлеви был по-прежнему в больнице, и Гудрун была настроена мрачно: все то же, все хуже. Жутко было думать, что надо идти к нему.

Что касается Бельбо, его в конторе не было. Гудрун сказала, что он звонил и сказал, что исчезает по семейным обстоятельствам. Какая еще семья? Самое странное, что он забрал компьютер, под кодовой кличкой «Абулафия», вместе с принтером. Гудрун сказала, что он хотел работать дома. Что за гонка? Почему не работать на работе?

Чувствовал я себя сиротливо. Лия с ребенком возвращалась только через неделю. Накануне вечером я навещался к Пиладу, но и там было пусто.

Меня разбудил телефон. Говорил Бельбо, издали, искаженным голосом.

– Вы где? Откуда вы звоните? Вас причислили к павшим под Аустерлицем...

– Не до шуток, Казобон, слушайте. Я в Париже.

– В Париже! Это же я собирался в Париж! Вы украли мой Консерваторий!

– Не шутите, ладно. Я звоню из автомата... Из кафе... Не знаю, смогу ли долго говорить...

– Если нет жетонов, переведите разговор на меня. Перезвоните, я подожду...

– Дело не в жетонах. У меня неприятности... – И он прокричал быстро, чтоб не дать себя перебить: – План. План существует на самом деле. Оказался правдой. Пожалуйста, не надо спорить. За мной охотятся...

– Да кто охотится? – Я все еще не понимал.

– Храмовники, о господи, Казобон, вы не хотите верить, но все это правда! Они думают, что карта у меня, я у них на крючке, они заставили меня приехать в Париж. В субботу в полночь они ждут меня в Консерватории, в субботу, понимаете, в ночь святого Иоанна! – Он говорил бессвязно, следить было трудно. – Я не хочу идти, я попытаюсь бежать, Казобон, они убьют меня! Предупредите Де Анджелиса, или нет, бесполезно, не надо, не надо никакой полиции...

– Что же делать?

– Что делать – не знаю, прочтите дискеты, на Абулафии, я записал туда все, что случилось за последний месяц. Вас не было, некому было рассказать, я писал трое суток... Вы слушаете? На работе, в ящике, в моем столе будет конверт, в нем два ключа. Большой ключ вам не нужен, он от дома в деревне, а маленький – от миланской квартиры. Идите туда и все прочтите, а потом решайте, или поговорим сейчас, господи, не могу сообразить, что делать...

⁸ Ради этой надобности милосердные ангелы часто изобретали и посылали нам, смертным, фигуры, буквы, формы и звуки и незнакомые, и поразительные, ничего согласно обычному использованию языка не означающие, но через посредство высшего нашего разума внушающие восторг к усердному исследованию умопостигаемого и к ним самим почтение и любовь (лат.).

– Хорошо, я прочту. Но вас-то где искать?

– Не знаю, я каждый день меняю гостиницу. Сегодня вы делаете, как я сказал, а завтра ждите с утра в моей квартире, я попытаюсь перезвонить, если смогу. Да, еще. Забыл сказать вам пароль... нет...

Послышался шум, и голос Бельбо то приближался, то удалялся, то совсем исчезал, как будто кто-то вырывал у него трубку.

– Бельбо! Что происходит?

– Они выследили меня. Пароль...

Раздался удар, как выстрел. Наверно, упала трубка, ударилась о стену или о полочку под телефоном. Звуки драки. Потом кто-то повесил трубку обратно, – разумеется, не Бельбо.

Я встал и пошел под душ, чтобы покрепче проснуться. Я ничего не мог понять. «План оказался правдой»! Что за чушь, мы сами его сочинили. Кто схватил Бельбо? Розенкрейцеры, граф Сен-Жермен, Охранка, Рыцари-Храмовники, Ассасины? Все было равно возможно, потому что равно невероятно. Могло случиться, что у Бельбо поехала крыша, он последнее время жил в таком напряжении, непонятно из-за чего: то ли из-за Лоренцы Пеллегрини, то ли из-за все возраставшего увлечения своим собственным порождением. Вообще-то детище было не только его, План был общий, мой, его и Диоталлеви, но из нас троих именно он, по-видимому, втянулся сильнее прочих, больше, чем требовала игра. Строить дальнейшие предположения не имело смысла. Я побежал в издательство. Гудрун встретила меня кисло: ее оставили одну в лавке. Но я, не останавливаясь, промчался в нашу комнату, выхватил из ящика конверт с ключами и ринулся к Бельбо.

Запах затхлости, стоялых окурков, пепельницы переполнены, мойка завалена тарелками, ведро забито жестянками от консервов. В кабинете на столике три пустые бутылки от виски, в четвертой еще оставалось пальца на два. Квартира человека, который несколько дней сидел взаперти, ел что попадется и работал абсолютно как ненормальный.

Всего там было две комнаты, в обеих книги занимали все полезное пространство и громоздились по углам, стеллажи стонали под их весом. Мне тут же бросились в глаза компьютер, принтер, коробки с дискетами. В тех немногих местах на стенах, где не было книг, висели картины и, в частности, напротив стола – гравюра семнадцатого века в замечательной рамке, аллегорический сюжет, на которую я не обратил никакого внимания месяц назад, когда заходил к Бельбо выпить пива накануне отъезда в отпуск.

На столе – фото Лоренцы Пеллегрини. Красовалась и дарственная надпись мелким кривоватым почерком подростка. Крупный план лица; выражение глаз – странное выражение глаз – волнующие глаза; из безотчетной деликатности – или ревности? – я отвернул снимок и не стал читать надпись.

Среди папок на столе большинство было – графики, распечатки издательских планов. Но довольно быстро мне попался связный текст, напечатанный на принтере. Судя по датировке файла, это были первые пробы работы на компьютере. Они так и назывались «Абу». Я тут же вспомнил первые дни, когда Абулафия только-только появился в нашем издательстве. Бельбо совершенно потерял покой, вел себя как ребенок, Гудрун похмыкивала, Диоталлеви отпускал ироничные замечания.

Файл «Абу» представлял собой открытое письмо Якопо Бельбо всем насмешникам его жизни. Письмо довольно сумбурное, «на новенького», выдающее невероятное комбинаторное исступление, с которым Бельбо набросился на электронную машину. Человек, который говорил о себе с обычной бескровной улыбочкой: однажды-де он понял, что ему не светит роль главного героя, и выбрал себе роль умного наблюдателя; бессмысленно писать, если нет серьезной мотивации, гораздо лучше переписывать уже написанное, то есть быть хорошим редак-

тором, – этот человек обнаружил для себя в компьютере некий галлюциноген. Он брэнчал на клавиатуре, как подбирают собачью польку на стареньком домашнем пианино, когда никто не слушает и не судит. Творческая мысль не имела к этому отношения; затерроризированный письмобоязнь, он воспринимал данный процесс не как письмо, а только как пробу автоматического устройства, как физзарядку ума. И в то же время, освободившись от присущих фобий, он увидел в этой новой игре выход в подростковое состояние, столь любезное пятидесятилетним. В любом случае, каким-то образом его природный пессимизм и сложные расчеты с прошлым отступили на второй план перед возможностью контакта с памятью неорганической, вещной, покорной, безответственной, внеисторической, до того по-человечески бесчеловечной, что он на время переставал чувствовать собственную знаменитую «болезнь бытия».

Имя файла: **Абу**

О ясное утро конца ноября, в Начале было Слово, гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, Муза прелестница, Муза печальница. Точка и новая строчка.

Само идет на новую строчку.

Проба проба проба рбсбкблещ рбсбкблещ. Хорошая программа строит анаграммы. Если вы написали роман из жизни Южных штатов, героя зовут Ретт Батлер, а героиню Скарлетт, а потом вам это не понравилось, надо только дать команду, и Абу поменяет всех Реттов Батлеров на князей Андреев, всех Скарлетт на Наташ, Атланту на Москву, и готова война и мир.

Абу все может. Сейчас я напишу фразу и заставлю Абу поменять все «а» на «акка» и все «о» на «улла» и получится по-фински.

Аккабу все муллажет. Сейчаккас я нааккапишу фракказу и заккастаккавлю Аккабу пулламять все «акка» на «аккакка» и все «улла» на «уллакка» и пуллалучится пулла-фински.

О счастье, о головокружение неподобия, о мой идеальный читатель/писатель, обуреваемый идеальной «несонницей» (О поминки по Финнегану, о нежная, возвышенная тварь!). Не думает за тебя, а помогает тебе думать за него. Механизм стопроцентной духовности. Ежели пишешь гусиным пером, скрипя по засаленному листу бумаги и макая ежеминутно в чернильницу, мысли опережают друг друга и рука не успевает за мыслью, если печатаешь на машинке, буквы перепутываются, невозможно поспеть за скоростью собственных синапсов, побеждает тупой механический ритм. А вот с ним (может быть, с нею?) пальцы пляшут как им угораздится, мозг объединен с клавиатурой, и порхаешь посреди неба, у тебя как у птички крылья, ты сочиняешь психологический критический разбор ощущений первой брачной ночи.

А теаперь я вот что с делаю, напечатаю кучок вслепуб, в затем возьму эту кучу орфографиячких мо н смров и потребу= от малшины сдублировать ее и перенести во врепменную память, И песть после жтого снова выведется и из Лимба на эжокран, в хвосте за самой слбойю

Вот так я напечатал кусок вслепую, а затем взял эту кучу орфографических монстров, и сдублировал свои ошибки, и перенес их во временную память, и снова воспроизвел всю кучу в хвосте за самой собою, но в выправленном виде, и теперь она – образец аккуратности, по амбарам поскребли, колобок нам испекли, и глаз любит, и душа услаждается.

Я мог бы, исправив текст, выкинуть предыдущий кусок: оставляю его только для демонстрации того, как на этом экране могут сосуществовать бытие и долженствование, случайность и необходимость. А мог бы убрать

порочный кусок из видимого текста, но сохранить в виртуальной памяти, накапливая таким образом каталог предыдущих стадий, не лишая загребущих фрейдистов и асов «критики вариантов» ни радостей научного сыска, ни профессионального удовлетворения, ни академических лавров.

Эта память лучше настоящей, потому что настоящая, вероятно благодаря суровой школе, научена запоминать, но не научена забывать. Диоталлеви самым сефардическим образом балдеет от своих дворцов с огромными лестницами, а потом там дальше, дальше – статуя воина, насилующего полонянку, и коридоры с тысячами комнат, и в каждой комнате – чудища подлы, позорны, и тревожные видения, странные призраки, оживающие мумии, и с каждым зрелищем сассоциирован в сознании некоторый факт, категория, какой-то элемент устройства космоса, то силлогизм, то не имеющий конца сорит – силлогизм в форме цепочки, – вереницы апофегм, ожерелья гипаллагов, розы зевгм, кадрили гистеронов-протеронов, апофантические речи, иерархии стихий, прецессии равноденствий, параллаксы, гербарии, генеалогии гимнософистов – и далее до бесконечности, то Раймунд, то Камилл, достаточно отослаться воображением к этим зрительным картинам – и немедленно снова выстраивается великая цепь бытия, идешь направо love, идешь налево joy, – привет вам от Лавджоя, так «все, что разлисталось по вселенной», у вас в глубинах памяти «как в книгу совершенную сплелось», Пруст в сравнении с подобной штукой – детская бирюлька. Но однажды мы с Диоталлеви сели изобретать *ars oblivionalis* – и не сумели сформулировать правила забвения. Это бесполезно: можно брести в поисках пропавшего времени по самым хрупким следочкам, как Мальчик с пальчик по лесной тропинке, но у вас не получится специально сбить с пути время обретенное. Мальчик с пальчик возвращается как штык, с этим ничего не поделаешь. Не существует технологии забвения, в этом смысле мы все еще ждем от природы случайных милостей – мозговых кровоизлияний, амнезии, хирургии и что там еще может стрястись, ну, скажем: путешествия, пьянство, лечение сном, самоубийство.

А Абу вместо всего этого предлагает широкий выбор локальных мини-самоубийств, временных амнезий, безболезненных афазий.

Где ты была сегодня ночью, Л

Вот так вот, мой нескромный читатель, ты не узнаешь никогда, а ведь эта оборванная линия строкой выше, кончающаяся пустотой, не что иное, как зачин одной ужасно предлинной фразы, которую я на самом деле написал, но потом захотел как бы никогда не иметь ее написанной (и никогда не иметь произнесенной даже про себя), потому что хотел, чтобы то, что я написал, никогда бы не бывало произошедшим. И достаточно простого нажатия клавиши, млечная пена захлестнула фатальный, нежеланный кусок текста, я шлепнул по «отмене сигнала», и текст исчез.

Но и это не все. Трагедия самоубийцы в том, что обычно, выпрыгнув из окна и пролетая между седьмым и шестым этажами, он всей душой взывает: «Ах, если бы я мог переиграть!» Но это дудки. Никто переиграть не может. Бац. А мой Абу милосерден, он позволяет обратный ход, я еще восстановлю мой исчезнувший текст, если только не слишком тянуть и сразу шелкнуть по клавише восстановления. Какое счастье. Исключительно потому,

что всегда в нашей власти вспомнить, – теперь мы умеем забывать. Не пойду я больше по окрестным барам разносить в щепки неприятельские миноносцы боевыми снарядами, покуда алкоголь окончательно не развалит на обломки меня самого. Здесь гораздо интереснее: здесь можно расщеплять мысли. Здесь галактика из тысяч тысяч астероидов, все выстроились по ранжиру, беляшечки-зелененькие, на выбор, все созданы вами. Фиат Люкс, Биг Бэнг, семь дней, семь минут, семь секунд, и вот пожалуйста, сотворяется мир вековечной текучести, где не существует ни четких космологических линий, ни временных связей, здесь орднунг не мус зайн и возможен поворот обратно, такожде и во времени, письма рождаются и тонут, идут ко дну и снова выплывают невозмутимо, выйдут из небытия и спокойно канут туда же, и ты волен их вызывать, переставлять, тасовать, и стирать, и тереть их, они растворяются и снова гектоплазмируются в отведенном им месте, это субмаринная симфония перетягиваний и влажных разрывов, студенистый вальс самопожирющих комет, они как рыбина из Yellow Submarine, прикоснитесь подушечкой пальца, и непоправимое поползет назад в пасть прожорливой вокабуле, так и ухнет в ее зубы, а она засосет и хряп, мрак, не удержишь – сожрет самое себя, раздуется от собственного несуществования, черная дыра Чешира.

А если пишешь такое, которое стыдно писать, можно вогнать все это в мягкую дискетку, а на дискетку наложить вето – придумать пароль, и никто не сумеет прочесть, что в ней зашифровано, это находка для шпионов, записал, запечатал и привет, можешь гулять с диском в кармане, и никакой Торквемада не дознается, что там за секреты, будут знать только ты и он (и Он?). Пусть даже предположим, что тебя пытаются, ты соглашаешься стучать, сдать свой Секрет, настучать пароль, а вместо этого нажимаешь секретную кнопку – и все, и пиши пропало, вся твоя криптограмма навеки перестала существовать.

Ой, тут было что-то написано, я нечаянно ткнул пальцем, все исчезло. Что это было? Не помню. Знаю только, что очень важных Откровений там не было. Хотя за будущее не поручусь.

4

*Кто хочет проникнуть в Розовый Сад Философов, не имея ключа,
подобен тому, кто хочет идти, не имея ног.
Михаэль Майер, Аталанта Бегущая?⁹
Michael Maier, Atalanta Fugiens,
Oppenheim, De Bry, 1618, emblema XXVII*

Больше ничего на поверхности не было. Предстояло разбираться в дискетах. Они были перенумерованы, и я начал с первой. Но Бельбо предупредил что-то насчет пароля. Он всегда был ревнив к секретам Абулафии.

И действительно, едва я зарядил машину, на экране появилась строка: «Вы знаете пароль?» Формулировка не обидная. Бельбо был тактичный человек.

Машина вела себя безучастно, она знала, что требуется пароль, и, не получая пароля, скучала. Но в то же время будто подзуживала: «Вот так-то! То, что тебя интересует, у меня тут, в брюхе, да только как ты ни пыхти, старый крот, все равно ничего не узнаешь». Вот теперь и посмотрим, сказал я себе, ты так любил играть в шарады с Диоталлеви, ты был Сэм Спейд издательского дела, лови теперь соколка, как сказал бы Якопо Бельбо (и Дэшел Хэммет, разумеется само собой).

Пароль на Абулафии мог быть длиной вплоть до семи букв. Сколько шарад, сколько семерок способен дать наш двадцатипятибуквенный алфавит, с учетом возможности повторов, ибо ничто не препятствует таинственному слову выглядеть как «кадабра»? Есть формула подсчета вариантов. В общем, результат будет где-то шесть миллиардов и хвостик. Допустим, берется здоровенная счетная машина, способная перебрать нужные шесть миллиардов со скоростью миллион в секунду, но все равно после этого придется закладывать их в Абулафию поштучно и смотреть, что будет, а так как при этом известно, что Абулафии требуется примерно десять секунд на вопрос и на прогонку ответа, имеем шестьдесят миллиардов секунд. Учитывая, что календарный год в пересчете на секунды – это около тридцати одного миллиона, округлим до тридцати, выйдет, что на работу надо отдать примерно две тысячи лет. Неслабо.

Остается путь дедукций. Какое слово могло иметь особый смысл для Бельбо? И прежде всего – выбирал ли он это слово в самом начале, когда только затевал свой роман с машиной, или в последние дни – после того как понял, что в память заложены взрывоопасные вещи и игра перестает быть игрушкой, по крайней мере для него самого? Результаты, в первом и во втором случае, будут сильно отличаться.

Пойдем от второй гипотезы. Бельбо попадает в тиски Плана, принимает План всерьез (судя по последнему его звонку) и, вероятно, выбирает какое-то слово, связанное с нашими делами.

А может быть, и нет. Ведь нельзя забывать, что пароль, восходящий к Преданию, доступен и Тем. Вдруг я подумал, что Они свободно могли уже побывать в этой квартире, скопировать все дискеты и в данную минуту в каком-нибудь другом доме, как и я, сидят, ломают голову над комбинациями. Вычислительная техника завтрашнего дня в дракульем замке на Карпатах.

И очень глупо, возразил я себе. Этот народ далек от техники. Они вооружатся Нотариконом, Гематрией¹⁰, Темурой¹¹, обратятся к дискетам как к Торе. И потратят на толкование

⁹ Основной трактат по алхимии в форме эмблем с подписями.

¹⁰ Гематрия (от греч. «геометрия» или «гамматрия») – истолкование слова, исходя из численных значений входящих в него букв.

¹¹ Темура (ивр. «подмена») – истолкование слова путем замены в нем букв по определенной системе, вместе с нотариконом

не меньше десятилетий, нежели минуло со времен создания «Сефер Йецира»¹². Однако дедуктивный метод все равно имеет смысл. Исходим из того, что Они, если бы существовали, искали бы разгадку в каббале. Если, в свою очередь, Бельбо был убежден, что Они существуют, он вполне мог выбрать Их путь.

Для очистки совести я попробовал каждую из десяти сефирот: Кетер, Бина, Хохма, Гевура, Хесед, Тифферет, Год, Нецах, Йесод, Мальхут – и в нагрузку подбросил еще Шехину. Разумеется, ничего не получилось, ибо это была первая мысль, которая пришла бы в голову кому угодно.

И тем не менее слово-пароль должно было быть вполне очевидным, вытекающим из объективного хода вещей, потому что когда люди делают работу, да еще в таком безумном темпе, в каком работал Бельбо последние дни, они не способны отключиться от искусственного мира, в который погружены. Негуманно предполагать, что Бельбо мог совершенно сбрендить от этого Великого Плана и начать думать, скажем, о Линкольне или о Момбасе. Нет, это должно было быть что-то связанное с делом. Вот только... что?

Я попытался приобщиться к ментальным процессам Бельбо. Вот я работаю запоем, прикуриваю новую сигарету от предыдущей, подливаю себе виски и лишь изредка взглядываю по сторонам. Я отправился в кухню и выщедил себе последние капли виски в единственный чистый стакан, имевшийся в доме. Возвратился к столу. Откинулся на спинку стула, задрал на стол ноги, стал потягивать маленькими глотками (стопроцентный Сэм Спейд – а может быть, так вел себя не Сэм Спейд, а Марло?) и озираться по сторонам. До книжных полок было далеко, надписи на корешках не читались.

Я залил в рот последнюю дозу, прикрыл глаза, проглотил виски и снова воззрился перед собой. В фокусе оказалась старая гравюра. Семнадцатый век, типичнейшая для того времени розенкрейцерская аллегория, полная шифрованных сигналов – обращение к законспирированным собратьям по ордену. В середине был несомненный розенкрейцерский Храм – башня, увенчанная куполом, вариация иконографического канона эпохи Возрождения, как христианского, так и иудейского, согласно которому Иерусалимский храм изображался по подобию мечети Омара.

Ландшафт вокруг этой башни был разорван и заселен странно, как в тех ребусах, где нарисованы дворец, жаба на первом плане, мул с вьюком, король, получающий дар от пажа. В данном случае в левом нижнем углу рисунка какой-то жантильом вылезал из колодца, уцепившись за трос, шедший через два роликовых блока, поверх довольно хлипких подпорок, прямо в круглое оконце башни-храма. В середине картины всадник и пешеход, справа – коленапреклоненный пилигрим, опирающийся на большой якорь, как на посох. На правой стороне, на уровне верха башни, – скала, с которой валится вниз человек, туда же летит его шпага, а на противоположной стороне, на горизонте, – гора Арарат и на ее вершине – причаливший ковчег. В небесах, по углам гравюры, два облака, из коих каждое озарено звездой, испускающей на крышу башни мутные лучи, в которых парили два существа справа и слева – голый мужчина, обвитый змеей, и лебедь. В самом верху, в середине, нимб, увенчанный словом «ORIENS»¹³, с надпечаткой еврейскими литерами. Из нимба выходит длань Господня, держащая нить, на которой подвешена башня.

У башни имелись колеса и квадратное основание с окнами, дверью, подъемным мостом в правой стене. Этажом выше – что-то вроде балюстрады с четырьмя наблюдательными вышками. На каждой стоял оружный чин со щитом, испещренным еврейскими буквами, и салю-

и гематрией составляет «три великих пути каббалы».

¹² «Сефер Йецира» (ивр. «Книга Творения») – еврейский текст, датируемый III–VI вв. н. э., описывающий структуру мироздания, в основе которой лежат «двадцать две элементарные буквы», «десять первозданных чисел (сефирот)» и «тридцать два пути мудрости». Исходный текст для многих разновидностей мистицизма, включая практическую каббалу.

¹³ «Восток», «восход» (лат.).

товал пальмовой ветвью. Этих оружных людей можно было видеть только трех, а наличие четвертого подразумевалось, он был заслонен восьмиугольным куполом, в центре которого возвышался новый венец, такой же восьмиугольный, и из венца высывалась пара огромных крыльев. Наверху еще один купол поменьше, с четырехугольным барабаном, открытым на четыре стороны света, состоящим из арок и тоненьких колонн, в середине которого просматривался колокол. И наконец, выше всего помещался четырехскатный купол, к которому крепилась нить, удерживаемая в облаках божественной рукой. По сторонам верхнего венца было написано «Fa/ma»¹⁴. Над куполом на ленте: «Collegium fraternitatis»¹⁵.

На этом странности не кончались, так как из двух круглых окон башни торчали: слева – несуразно огромная рука, которая могла бы принадлежать разве что втиснутому внутрь башни гиганту, чьи были и торчащие крылья; а справа – таких же масштабов труба. Труба, снова эти трубы...

Что-то подтолкнуло меня пересчитать отверстия в башне: в венцах – слишком частые и регулярные, в нижних стенах, наоборот, – слишком произвольные. Башня была нарисована в две четверти, в ортогональной проекции, и оставалось только предположить, что постройка симметрична и что все двери, окна и проемы, показанные художником, присутствуют на тех же местах на остальных стенках. Таким образом: четыре арки колокольного венца, восемь окон в среднем ярусе, четыре башенки, шесть отверстий в восточной плюс западной стенах, четырнадцать в северной плюс южной. Подобьем счет. Тридцать шесть отверстий.

Тридцать шесть. Вот уже десять лет, как меня преследует эта цифра. Вместе с цифрой сто двадцать. Это числа розенкрейцеров. Сто двадцать поделить на тридцать шесть – с точностью до седьмого знака – дает 3,333333. Это было бы чересчур красиво... Но все равно стоило попробовать. Я попробовал. Без толку.

Мне пришло в голову, что в удвоенном виде это число выглядело более или менее как 666. Число Зверя. Но и с этой догадкой, как показала практика, я перемудрил.

Мне снова бросился в глаза центральный ореол – обиталище Бога. Еврейские буквы в нем были настолько четки, что читались, даже не вставая из-за стола. Но Бельбо не мог печатать на Абулафии по-еврейски! Я присмотрелся: буквы мне были знакомы, ну да, конечно, справа налево: йод, гей, вав, гей. Ягве, Iahveh, Иегова. Имя Бога.

¹⁴ «Сла-ва» (лат.).

¹⁵ «Коллегия Братства» (лат.).

5

Двадцать две буквы основания. Он начертал их, выбил их, сделал их сочетания и перестановки, взвесил их и создал ими все созданное и все имеющее быть созданным...

«Сефер Йецира», глава 2, § 2

Имя Бога. Разумеется. Я вспомнил первую беседу Бельбо и Диоталлеви в тот день, когда Абулафию привезли к нам в контору.

Диоталлеви, привалившись к косяку кабинета, так и лучился снисходительностью. Снисходительность Диоталлеви обычно бывала обидной, но Бельбо до обид не снисходил.

– Что ты с ним будешь делать? Переписывать чужие рукописи? Ты же их не читаешь!

– На нем можно составлять указатели, вести библиографию, классифицировать. Можно писать что-нибудь свое. Почему обязательно чужое?

– Ты вроде божился, что не будешь писать свое.

– Я сказал, что не буду засорять мир новыми рукописями. Поелику роль главного героя мне не дают...

– ...ты удовлетворяешься ролью умного наблюдателя. Ну так как же?

– А так, что и умный наблюдатель, когда идет домой с концерта, насвистывает мотив, но это не значит, что он собирается выступить с ним в Карнеги-холл...

– Значит, ты собираешься насвистывать свои писания, чтоб убедиться, что не должен писать.

– Это будет по крайней мере честно.

– Неужели?

Диоталлеви и Бельбо были оба по происхождению пьемонтцами, а у пьемонтцев из приличных семей особенно ценится умение вежливо выслушать собеседника, глядя ему в глаза, и затем переспросить «Неужели?» тоном, полным живейшего интереса, но так, чтобы при этом собеседник пожелал провалиться сквозь землю. Я же был чистый варвар, заявляли они, и подобные тонкости, разумеется, были мне недоступны.

– Варвар? – возмущался я. – Хоть я и родился в Милане, моя мама из Валь Д'Аосты!

– Наплевать, – стояли они стеной. – Пьемонтцы узнаются по скептицизму.

– Я же скептик!

– Нет. Вы Фома недоверчивый. Это другое.

Я понимал, почему Диоталлеви не доверяет Абулафии. Он слышал, что компьютер может представлять буквы в произвольном порядке, выворачивать слова наизнанку, и всполошился, потому что предвидел самые дьявольские последствия подобных манипуляций. Бельбо успокаивал его.

– Эта игра в перестановки, – говорил он. – Она по-еврейски называется Темура, ведь верно? Не этим ли путем правоверные раввины восходят ко вратам Сияния?

– Друг мой, – отвечал Диоталлеви, – ты никогда ничего не поймешь. Да, это правда, что Тора – я имею в виду, разумеется, видимую Тору – есть лишь одна из перестановок-пермутаций букв, составляющих вековечную Тору, какую создал ее Творец и какой ее дал Адаму. Пермутируя столетие за столетием буквы в этой Торе, возможно рано или поздно взойти к Торе изначальной. Но важен не результат. Важен процесс, то есть та истовость, с которой мы бесконечно вращаем жернова моления и писания, составляя истину из малых круп. Если же машина выдаст тебе правду немедленно, ты эту правду не примешь, ибо сердце твое не будет очищено продолжительным испытанием. И потом – в таком месте, в редакции! Как можно! Слова Книги произносятся шепотом, в закоулке гетто, там, где человек научается жить горбясь и плотно

прижимая локти к бокам; ладонями же он держит Книгу, и той руке, которая листает, нет почти никакого пространства, и чтобы смачивать пальцы, приходится поднимать их к губам вертикально, как будто причащаясь хлеба нектасного, и дыша еле-еле, чтоб не уронить ни единой крошки. Слова пережевываются медлительно. Каждое слово, чтобы разобраться на частицы и снова составиться, должно быть распушено во рту, под языком. Не приведи случай уронить каплю слюны на ткань лапсердака. Если утратится хоть одна буква, порвется та нить, которая связывает тебя с высшими сефирот. Этому посвятил всю жизнь Авраам Абулафия, в то время как ваш святой Фома из кожи вылезал, отыскивая Бога на своих пяти тропинках. «Хохмат га-Церуф» Абулафии в равной степени явилась учением о пермутации литер и учением об очищении души. Мистическая логика, мир букв и их коловращение в бесконечной взаимозаменяемости – это и есть мир блаженства. Наука сопоставлений – музыка для рассудка. Однако имей в виду, что надо двигаться осторожно, с особой медленностью. Твоя машина способна создать суматоху, а не экстаз. Многие ученики Абулафии не сумели удержаться на тонкой грани, отделяющей созерцание имен Бога от магической практики, от манипуляции именами с целью составления талисманов, орудий управления природой. И они не ведали, как не знаешь и ты и не знает твоя машина, что любая буква увязана с соответствующей частью организма. Если ты сдвинешь с места одну согласную, не понимая ее силы, один из твоих органов сойдет со своего места. Игра природы... и тебя всего перекорежит как снаружи, на всю жизнь, так и внутри, на вечные времена.

– Слушай, – отвечал ему Бельбо в тот самый день, – ты меня не разубедил, а разохотил. Теперь в моих руках и в моей полной власти, как Голем у твоих любимых евреев, персональный Абулафия. Я решил назвать его Абулафия, сокращенно Абу. И представь себе, мой Абулафия работает даже аккуратнее, чем твой. Осторожнее. Как я понял, твоя проблема в том, чтобы испробовать все возможные комбинации букв в имени Бога? Прекрасно. Посмотри в учебник. Вот маленькая программа на бейсике для подбора всех вариантов взаимоположения четырех букв. Как будто нарочно для нас, для ИНВН. Хочешь, покажу, как она работает? – И он открыл страницу с программой, вот уж точно совершенной каббалой для Диоталлеви:

```

10 rem anagrams
20 input l$(1), l$(2), l$(3), l$(4)
30 print
40 for i1=1 to 4
50 for i2=1 to 4
60 if i2=i1 then 130
70 for i3=1 to 4
80 if i3=i1 then 120
90 if i3=i2 then 120
100 let i4=10-(i1+i2+i3)
110 lprint l$(i1); l$(i2); l$(i3); l$(i4)
120 next i3
130 next i2
140 next i1
150 end

```

– Вот попробуй с I, H, V, H. Введи там, где написано Input, и запускай программу. Не хотелось тебя огорчать, но возможных вариантов получится только двадцать четыре.

– Великое открытие. Святые Серафимы! Ты открыл, что имен Бога двадцать четыре! Неужели ты думаешь, что наши мудрецы все это до сих пор не посчитали? Да возьми «Сефер Йецира», шестнадцатый параграф четвертой главы. А у них, заметь, не было счетных машин.

«Из двух Камней складываются два Дома. Из трех Камней складываются шесть Домов. Из четырех Камней складываются двадцать четыре Дома. Из пяти Камней складываются сто двадцать Домов. Из шести Камней складываются семьсот двадцать Домов. Из семи Камней складываются пять тысяч сорок Домов. А дале и впредь ступай и мысли о том, что уста не рекут и чему уши не внемлют». Ты знаешь, как в наши дни называется то же самое? Расчет факториала. А знаешь, почему Предание предлагает прекратить счет и дальше не пытаться? Потому что если бы букв в имени Бога было восемь, вариантов получалось бы уже сорок тысяч, а если бы десять – три миллиона шестьсот тысяч, а анаграмм твоего несчастного имени можно было бы подобрать почти сорок миллионов, и скажи спасибо, что у тебя нет промежуточного инициала, как у американцев, иначе бы дело дошло до четырехсот миллионов с хвостиком. А если бы в имя Бога входили все двадцать семь букв, поскольку в еврейском алфавите нет гласных, а есть просто двадцать два звука и пять знаков вокализации, имена Бога исчислялись бы двадцатидевятизначным числом. К этому следует прибавить и все варианты с повторениями, ибо нигде не сказано, что имя Бога не может быть Алеф, повторенный двадцать семь раз, и тогда одним факториалом обойтись уже невозможно и надо будет вычислять двадцать семь в двадцать седьмой степени; это дает, я полагаю, четыреста сорок четыре миллиарда миллиардов миллиардов миллиардов возможных вариантов, плюс-минус погрешность, короче говоря, число из тридцати девяти знаков.

– Только не надо передергивать. Я тоже читал твою «Сефер Йецира». Основных букв известно двадцать две. Из них, и только из них, Бог образовал все сущее.

– Во-первых, не надо софизмов, потому что ты отлично понимаешь, что мы остаемся на тех же порядках величин, и если вместо двадцати семи в двадцать седьмой степени взять двадцать два в двадцать второй, все равно наберется что-то вроде трехсот сорока миллиардов миллиардов миллиардов. С простой человеческой точки зрения, разница пренебрежима. Я могу предложить тебе начать с единицы – один, два, три – и считать дальше по цифре в секунду. Чтобы дойти до миллиарда, до какого-то вонючего миллиардика, знаешь сколько времени тебе потребуется? Тридцать два года. Но дело обстоит еще сложнее, нежели ты думаешь. Каббала не сводится к «Сефер Йецира». Если хочешь, я могу объяснить, почему в хорошей работе по пермутации Торы должны все-таки учитываться двадцать семь букв, а не двадцать две. Ты правильно утверждаешь, что пять конечных знаков, попадая при перестановке в середину слова, превращаются в свой нормальный эквивалент. Но это не в ста процентах случаев. Возьми Исайю, девять-шесть-семь, слово LMRBH – Лемарбех – которое, кстати, обрати внимание, значит «умножение». Здесь в середине слова пишется «мем» конечная.

– Почему?

– Потому что каждой букве соответствует число, причем нормальная «мем» значит сорок, а конечная «мем» – шестьсот. Но в данном случае приобретает определяющее значение не Темура, трактующая о пермутации, а Гематрия, прослеживающая тончайшие связи между словами и их цифровыми смыслами. С конечной «мем» слово LMRBH начинает значить не 277, а 837, что соответствует по сумме словосочетанию «Тат Цаль», что означает «обильно одаривающий». Из этого следует, что необходимо принимать в расчет все двадцать семь букв, ибо важны не только звучания, но и количественные значения слов. А теперь вернемся к моему расчету. Пермутаций Торы может быть четыреста с чем-то миллиардов миллиардов миллиардов миллиардов. Известно ли вам, сколько времени надо, чтобы просмотреть их все, по одной в секунду, допуская даже, что некая электронная машина, разумеется, не твоя маломощная дрянь, способна на такое? Пропуская по одной в секунду, ты будешь этим заниматься семь миллиардов миллиардов миллиардов миллиардов минут, сто двадцать три миллиона миллиардов миллиардов миллиардов часов, немногим более пяти миллионов миллиардов миллиардов миллиардов дней, четырнадцать тысяч миллиардов миллиардов миллиардов лет, сто сорок миллиардов миллиардов миллиардов веков, четырнадцать миллиардов миллиардов миллиар-

дов тысячелетий. А если бы у тебя был компьютер, способный подбирать по миллиону комбинаций в секунду, ты только подумай, какой выигрыш во времени, при таком электронном пулемете ты бы разделался со всем делом всего за четырнадцать тысяч миллиардов миллиардов тысячелетий! Однако на самом деле настоящее имя Бога, тайное имя, длинно, как вся целиком Тора, и не существует на свете машины, способной подобрать все пермутации его, потому что и Тора сама по себе – это уже результат пермутаций двадцати семи букв с учетом повторений, и наука Темуры гласит о необходимости пермутировать не двадцать семь литер алфавита, а все до одного знаки Торы, из коих каждый знак имеет восприниматься как если бы он был самостоятельной буквой, даже если он появляется бесконечное количество раз в других местах и на других страницах, то есть с этой точки зрения, к примеру, две «гей» в имени ИВНН – две разные буквы. Поэтому если ты соберешься просчитать все возможные пермутации всех возможных знаков, составляющих целую Тору, тебе не хватит всех на свете нулей. Давай, давай, старайся со своей бухгалтерской машинкой. Истинная Машина, разумеется, существует. Но она создавалась не в какой-то долине и не из силикона. Эта Машина – священная Каббала или, иначе говоря, Предание. Раввины на протяжении столетий разрабатывали то, что ни одной машине разработать не по силам и, надеюсь, даже не придет в голову. Ибо буде пермутация задумана и осуществлена, результат должен оставаться секретом, и в любом случае мироздание на этом скончалось бы свой цикл. И мы полыхнули бы и погасли в вековечном забвении, во славу великого Метатрона.

– Аминь, – заключил Бельбо.

Однако с тех самых пор благодаря дорогому другу Диоталлеви в душе Бельбо поселился опасный интерес к вечному и бесконечному. Не раз и не два вечерами после работы он оставался и гонял на компьютере программы в явной надежде доказать Диоталлеви, что Абу способен наглядно представить истину за несколько секунд, без ручных подсчетов, без желтых пергаментов, без допотопных систем счисления, которые – кто их разберет? – возможно, вообще обходились без нулей или еще как-то в этом духе. Но все было без толку. Абу по любому поводу норовил ответить экспонентными формулами, и Бельбо никак не удавалось поразить Диоталлеви зрелищем экрана, целиком заполненного нулями, что было бы хотя и бледной, но иллюстрацией размножения комбинаторных миров и взрывного распада всех возможных универсумов...

Но в любом случае теперь, после всего, что имело место, и пред лицом розенкрейцерской гравюры, невозможно предположить, чтобы Бельбо не подумал, изобретая пароль, о пермутациях имени Бога. И вероятно, он обратился в первую очередь к цифрам тридцать шесть и сто двадцать, ибо, судя по всему, эти цифры стали и его наваждением; а если так, значит, он отправлялся не от четырехбуквенного еврейского слова ЯХВЕ, а от какого-то другого, ибо из четырех камней максимум, что можно построить, это двадцать четыре дома.

Естественнее всего было взять за основу итальянскую транскрипцию ИЕГОВА. Шесть букв – это уже семьсот двадцать пермутаций. Из них он мог употребить для пароля тридцать шесть или сто двадцатую.

Я пришел сюда в одиннадцать, теперь был час дня. Требовалось срочно составить программу анаграммирования шести букв. То есть, вернее, переработать уже имеющуюся программу для четырех.

Голова была мутная. Чтоб развеяться, я спустился на улицу, зашел в ближайший бар, купил бутербродов и новую бутылку виски.

Поднявшись в квартиру, я оставил бутерброды на какой-то полке, а виски немедленно откупорил, задвинул в компьютер системную дискету бейсик и начал сочинять программу для шести букв. Разумеется, по методу проб и ошибок. Так что вместо пяти минут я убил на это

Выходит, ошибочной была посылка. Я купился на красивую, но ложную гипотезу. Бывает с самыми лучшими учеными.

Какие, к черту, лучшие? С самыми худшими, как мне блистательно удалось продемонстрировать. Обсуждалось же нами недавно, что за последние несколько месяцев вышло как минимум три романа, где главный герой ищет имя Бога в компьютере. Бельбо не мог унизиться до такой пошлости. И потом вообще, если подумать минуточку, ну кто возьмет для пароля такую труднозапоминаемую абракадабру? Наоборот, нужно самое простое из возможных слов, чтобы оно набиралось спонтанно, инстинктивно. ИОВГЕА! Как же, жди! Ему бы пришлось освоить весь Нотарикон и всю Темуру и составить какой-нибудь невероятный акростих, чтобы только запомнить это слово. «Иудеи Отомстят Врагам Гарамона, Его Абидавшим...»

Кроме того, с какой стати Бельбо мыслил бы каббалистическими категориями Диоталлеви? Для Бельбо важнее всего был План, а в План мы ввели, слава богу, и Розенкрейцерство, и Синархию, и Гомункулов, и Маятник, Башню, Друидов, Эннойю...

К слову об Эннойе. Я подумал о Лоренце Пеллегрини. Я потянулся к фотографии и повернул ее лицом к себе. В память лезло неуместное воспоминание той ночи в Пьемонте... Подпись выглядела так: «Ибо я есмь первая и я последняя, я чтимая и я клянимая, я блудница и я святая. sophia».

Вероятно, писано после вечера у Риккардо. sophia. Шесть букв. Да нет. Какой смысл их анаграммировать? Это у меня извращенное мышление. Бельбо любит Лоренцу, любит именно за то, что она такая, какая есть, а она есть София... Бельбо думает о том, что в эту самую минуту она, вполне возможно... Нет, у Бельбо гораздо более парадоксальное мышление. Мне снова вспомнились слова Диоталлеви: «Во второй сефире сумрачный Алеф превращается в Алеф светоносный. Из Темной Точки выходят наружу буквы Торы. Тело – согласные, дыхание – гласные, а все вместе составляют песнь Пресвятого. Когда мелодия звуков движется, движутся с нею согласные и гласные. Созидается Хохма, Мудрость, Познание, первоначальная идея, в которой все содержание лежит как бы в упаковке и готово распространиться по всему сотворенному. В Хохме содержится сущность всего того, что будет...»

А что есть Абулафия, со своим тайным банком файлов? Упаковка всего, что Бельбо знал или думал, что знает. Его София. Бельбо избрал таинственное имя, открывающее доступ к Абулафии, к предмету его любовных ласк (единственному!). Но, лаская его, он воображает Лоренцу. Он ищет слово, которое поможет ему владеть Абулафией, но в то же время и Лоренцей. Ищет талисман. Он хочет проникнуть в сердце Лоренцы и понять его, как понимает сердце Абулафии. Он хочет, чтобы Абулафия оставался непроницаем для всех, как для него самого – Лоренца. Он верит, что способен охранить, объять Лоренцу и овладеть тайной Лоренцы, как овладел тайной Абулафии...

Все это было крайне сомнительно, но я старался убедить себя, что мыслю верно. Как и в отношении Плана, я принимал желаемое за действительное.

Но так как я все-таки был пьян, я снова пододвинулся к компьютеру и отбил СОФИЯ. Машина вежливо переспросила: «Вы знаете пароль?» Глупая машина, тебя не волнует даже мысль о Лоренце.

6

*Judá León se dio a permutaciones
De letras y a complejas variaciones
Y al fin pronunció el Nombre que es la Clave,
La Puerta, el Eco, el Huésped y el Palacio...*¹⁶

Х. Л. Борхес, Голем.

J. L. Borges, El Golem

На этот раз, от ненависти к Абулафии, к его тупым приставаниям – «Есть у вас ключевое слово?» – я рявкнул: «Нет».

Экран вздрогнул и начал заполняться буквами, линиями, списками, излились хляби слов. Я взломал Абулафию.

Я так обезумел от своей победы, что даже не задумался: а почему Бельбо выбрал именно это слово? Теперь-то я понимаю почему и понимаю, что он в некую минуту озарения понял то, что понимаю теперь я. Но в четверг я думал только об одном: победа!

Я плясал, бил в ладоши, орал армейские песни. Когда наконец буря стихла, я скомандовал себе: марш в ванную и умыться. Потом приступил к печатанию последнего файла, который Бельбо кончил перед самым броском в Париж. Пока принтер похрюкивал, я взялся за бутерброды и налил себе еще виски.

Потом я прочел напечатанное, и содрогнулся, и стал мучительно решать: разоблачительный материал или бред безумца? Что я, в сущности, знал о Якопо Бельбо? Что я понял в нем за те два года, которые мы провели бок о бок, видясь ежедневно? В какой степени мог я верить дневнику человека, писавшего, по его же признанию, в исключительных обстоятельствах, одурманенного алкоголем, курением, страхом, три дня и три ночи отрезанного от всяких контактов со внешним миром?

Была уже ночь. Двадцать первое июня. Глаза слезились. С утра перед глазами маячил только экран и муравьиная мелкота точечной печати. Истинны или ложны догадки – в любом случае Бельбо собирался позвонить на следующее утро. Значит, надо ждать его звонка. Кружилась голова.

Шатаюсь, я переполз в спальню и улегся на чужую постель.

Около восьми я пробудился от крепчайшего липкого сна и поначалу не мог понять, где нахожусь. Слава богу, в банке было немного кофе, я выпил две или три чашки. Телефон не звонил. Выйти за продуктами я не решался: вдруг Бельбо доберется до телефона именно в это время.

Я опять включил машину и стал печатать другие дискеты, в хронологическом порядке. Обнаружил игры, упражнения, рассказы о вещах, известных мне независимо. Увиденные глазами Бельбо, эти вещи показывались в новом свете. Дневник, интимные записи, наброски и пробы пера, педантично каталогизированные – с педантизмом смирившегося неудачника. Я находил там портреты людей, которых знал, и их лица здесь приобретали совершенно другое выражение, очень трагическое; а может быть, трагическим было прочтение? Способ, которым я укладывал намеки, случайные кусочки в чудовищную мозаику?

Особенно меня поразил файл, состоящий из одних цитат. Они относились к чтениям недавнего времени, я узнавал каждую, о, сколько книг в этом духе прошло через нас с Бельбо за

¹⁶ Иегуда Леон из пермутаций В исходе многосложных вариаций Составил Имя, что есть Ключ и Дверь, И Божество, и Эхо, и Дворец... (исп.)

последние месяцы... Цитаты были пронумерованы: ровно сто двадцать. Число со значением. Или, если совпадение, – странное совпадение. И почему Бельбо выбрал именно эти фразы?

Прошло несколько дней; сегодня без помощи этого файла я уже не мог бы объяснить ни писания Бельбо, ни ужасную историю, в которой участвуем мы все. Я перебираю цитаты, как бусины богохульных четок, и чем дальше, тем яснее вижу, что многие из них могли бы прозвучать для Бельбо сигнальным звоночком, указать путь спасения.

А может быть, дело во мне? Может быть, это я не способен отличить логику от буйного бреда? Я все твержу, что именно моя версия – правильная, но не далее как несколько часов назад именно мне, – мне, а не Бельбо, – было сказано: вы ненормальный.

Луна неторопливо восходит над горизонтом, за Брикко. Большой дом заселен кем-то шуршащим – видимо, мыши, сверчки... Скелет дядиногo врага Аделино Канепы... Мне страшно перейти на ту сторону, я сижу в кабинете дяди Карло, смотрю в окошко. Время от времени подхожу к балкону, чтобы проверить, не поднимается ли кто-то по склону гор. Я чувствую себя как в кино, какая тоска: «Сейчас они появятся...»

Но гора спокойна в сиянии летней ночи.

Насколько же фантастичнее, туманнее и безумнее была гипотеза, которую я выдумывал в тот вечер, обманывая время и борясь с изнеможением, торча, как палка, в перископе с пяти до десяти... а чтоб не затекали ноги, я медленно, инертно перетапывался с одной на другую, как бы во власти отдаленного афро-бразильского ритма.

Передумать все недавние годы, отдаваясь мерному перестукиванию «атабаке»... Чтобы свыкнуться с мыслью о том, что наши фантазии, разыгранные как в механическом балете, ныне в этом храме механики пресуществятся в ритуал, в обладание, в богоявление и во владычество бога Эшу?

Тогда в перископе у меня еще не было доказательств, что рассказанное компьютером – правда. Я мог еще защищаться сомнением. К полуночи следовало бы, наверно, признать как безусловный факт, что я прискакал в Париж, затаился, яко тать, в невинном техническом музее, – словом, наделал кучу глупостей только потому, что поддался на простую приманку – макумбу для туристов. Дал себя одурманить ароматами «перфумадорес», ритмами «понтос»...

Скептицизм, сострадание, подозрительность поочередно правили моими воспоминаниями, складывали мозаику, и это состояние духа, раздираемого между обаянием интриги и предошущением капкана, я бы хотел сохранить в себе и сегодня, когда на значительно более свежую голову передумываю то, о чем думал ночью в музее, и снова возвращаюсь к документам, лихорадочно прочитанным в последнее время, и тогда утром в аэропорту, и во время перелета в Париж.

Я пытался объяснить хотя бы сам себе ту безответственность, с которой мы – я, Бельбо и Диоталлеви – осмелились переписывать мироздание и, как выразился бы Диоталлеви, переоткрывать те части Книги, что напечатлены пламенем белым, то есть пробелы, оставленные саранчой черного пламени, населяющей – и изъясняющей – Тору.

Теперь, когда я здесь, когда достиг – надеюсь – спокойствия и amor fati¹⁷, я могу начать историю, которую пытался выстроить в тревоге и в надежде – ах, скорее всего обманной! – два вечера назад в перископе. Историю, прочитанную за два дня до того в квартире Якопо Бельбо и прожитую мною самим, не всегда сознавая это, в течение последних двенадцати лет на фоне стойки «Пилада» и запыленных стеллажей «Гарамона».

¹⁷ Любовь к року (*лат.*) – выражение стойков. У Ницше – радостное принятие судьбы сверхчеловеком.

III. Бина

7

Не ждите слишком многого от конца света.
Станислав Ежи Лец, Непричесанные мысли: афоризмы, фразы.
Stanislaw J. Lec, «Mys'li Nieuczesane», Aforyzmy, Fraszki
Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1977

Поступить в университет через два года после шестьдесят восьмого было таким же невежеством, как в Академию Сен-Сир в девяносто третьем. Основное ощущение – что ты опоздал родиться. Хотя Якопо Бельбо, будучи на пятнадцать лет старше меня, впоследствии уверял, что это чувство свойственно каждому поколению. Все всегда рождаются не под своей звездой. Единственный способ жить по-человечески – это ежедневно корректировать свой гороскоп.

По-моему, наибольшее воспитательное значение для ребенка имеет то, что он слышит от родителей, когда они его не воспитывают. Роль второстепенного огромна. Мне было десять лет, я хотел, чтоб родители подписали меня на журнал, где печатались знаменитые литературные произведения в виде комиксов. Не по скупости, а из недоверия к комиксам мой папа мялся и выжидал. – Цель этого издания, – произнес я тогда, будучи мальчиком велеречивым и хитрым и цитируя рекламный проспект, – распространение знаний в легкодоступной форме.

– Цель этого издания, – отвечал отец, не подымая глаз от газеты, – та же, что у остальных, – увеличить тираж.

С этого дня я стал Фомой недоверчивым.

То есть я пожалел, что когда-либо бывал доверчив. Что поддавался одной из страстей разума. Доверчивость – это страсть.

Недоверчивый Фома не то чтобы не верит ни во что – он верит не во все. Он верит в первое, а во второе – лишь в той мере, в которой первое вытекает из второго. Недоверчивый близорук, методичен, далеко не загадывает. Если даны две взаимопротиворечащие вещи, верить и в ту и в другую, предполагая гипотетическую третью, которая их объединяет, – это уже доверчивость.

Недоверчивость не исключает любопытства. Наоборот. Я мог не верить в сочленение идей, но ценил многоголосие идей. Достаточно не верить ни во что – и две идеи, равно неверные, дают вам возможность совместить их посредством хорошего интервала и составить *diabolus in musica*. Я не уважал идеи, за которые требовалось класть жизнь, но из двух или трех не уважаемых мною идей можно было образовать чудную мелодию. Или чудесный ритм, лучше всего джазовый.

Пройдут годы, и Лия мне скажет: – Ты живешь поверхностностями. Твоя глубина – это напластование множества поверхностностей, такого множества, что они создают впечатление плотности, однако будь это настоящая плотность, ты бы не выдержал собственного веса.

– Значит, по-твоему, я поверхностен?

– Нет, – отвечала Лия. – Просто то, что обычно имеют в виду под глубиной, это тессеракт – четырехмерный куб. С одного бокуходишь, в другой выходишь и оказываешься в измерении, которое с твоим не сообщается.

(Лия, не знаю, суждено ли нам увидеться теперь, когда Они вошли не с того боку и заполнили твой мир, и виноват во всем я: это я убедил Их, что там есть бездна, – бездну-то Они и ищут, в своей жалкости.)

О чем же я действительно думал пятнадцать лет назад? Убежденный, что не верю, я чувствовал вину перед теми, кто верил. Поскольку я ощущал, что правы они, я положил себе верить, как при температуре положено принимать аспирин. Вреда от него нет, а душа очищается.

Я оказался в гуще революции (скорее это была великолепная симуляция революции) именно потому, что приискивал себе порядочную веру. Я считал, что приличный человек не может не ходить на собрания, не участвовать в уличных шествиях и манифестациях. Я кричал вместе со мне подобными: «Фашистские гады, буржуям нет пощады!» («Fascisti, borghesi, ancora rochi mesi!») и не швырял булыжников и железок только по той причине, что всегда опасался, как бы ближний не сделал мне того же, что я делаю ближнему. Однако испытывал невероятный внутренний подъем, улепетывая по узким улочкам центра от дышащих в затылок полицейских. Я возвращался домой с чувством выполненного долга. На собраниях мне не удавалось сливаться с коллективом. Мешало подозрение, что достаточно одной правильно выбранной цитаты, чтобы из этой группы пришлось переходить в противоположную. Я этим и занимался про себя – подбирая цитаты. И так проводил время.

Поскольку я, как и все, примыкал на демонстрациях к тем колоннам, где были симпатичные девушки, я по себе знал, что политическая деятельность может быть родом секса, а секс может быть страстью. Мне же хотелось до страсти себя не доводить и ограничиваться любопытством. Хотя в то же время, занимаясь храмовниками-тамплиерами и многообразными половыми извращениями, которые им приписывали, я попал на цитату из Карпократас насчет того, что, дабы освободиться от тирании ангелов, захвативших наш космос, необходимо предаваться непотребствам. Это освобождает человека от долговых обязательств перед универсумом и собственным телом. Карпократ считал, что лишь таким путем душа способна отмежеваться от страстей и обрести первоначальную чистоту. Когда мы выработывали План, я обнаружил, что многие запойные заговорщики, чтобы добыть озарение, следуют этому рецепту. Однако Алистер Кроули, которого полагается считать самым извращенным человеком всех времен и всех народов и который для этого творил все возможное и невозможное с верующими обоих полов, имел, по свидетельству биографов, только очень некрасивых женщин (думаю, что и мужчины, судя по тому, что они писали, были не лучше), и у меня есть сильное подозрение, что он ни разу не занимался любовью по полной программе.

Вопрос в пропорции между тягой к власти и половым бессилием. Маркс симпатичен мне: чувствуется, что он и его Женни занимались любовью с энтузиазмом. Это ощущается по умиротворенности его стиля и по неизменному юмору. В то же время, как я заметил однажды в коридоре университета, если спать с Надеждой Константиновной Крупской, человек потом обязательно напишет что-то жуткое, типа «Материализма и эмпириокритицизма». Мне пригрозили железным прутом и заклеили фашистом. Меня клеймил длинный парень с татарскими усами. Я его прекрасно помню. Сейчас он гладко брит, живет в коммуналке, они зарабатывают плетением корзин.

Я реконструирую нравы времени только для того, чтобы описать, с каким внутренним багажом я предстал перед коллективом «Гарамона» и завел дружбу с Якопо Бельбо. Я был из тех, кто соглашается беседовать о смысле жизни лишь ради того, чтоб быть готовым править верстку на эту тему. Я полагал, что основная проблема, связанная с изречением «Аз есмь Сый»¹⁸, состоит в соотношении прописных и строчных букв.

Поэтому политический выбор я сделал в пользу филологии. Миланский университет в те годы был единственным в своем роде. В то время как во всей остальной стране захватывали аудитории и нападали на профессоров, требуя, чтобы они участвовали в пролетарской науке, у нас, за исключением мелких эксцессов, соблюдалась конвенция, иными словами, был прове-

¹⁸ Исход, 3:14.

ден территориальный раздел мира. Революция проходила во дворах, в актовом зале и главных коридорах, а официальная культура гнездилась в безопасном и тихом месте – во внутренних коридорах и на верхних этажах, и там продолжала существовать точно так, как будто никакой революции не было.

Я проводил утра внизу, судача о пролетарской науке, а вечера – наверху, наторея в аристократических умствованиях, замечательно освоился в параллельных мирах и не ощущал ни малейшего раздвоения. Я, как и все, считал, что мир стоит на пороге справедливого общества, но при этом полагал, что в справедливом обществе должны будут работать (и эффективнее, чем в предыдущем), к примеру, железные дороги. Однако окружавшие меня санкюлоты вовсе не учились загружать уголь в топку, подсовывать башмаки и согласовывать расписание. Кого они собирались приставлять к поездам – непонятно.

Не без некоторого смущения я ощущал себя маленьким Сталиным, который усмехается в усы и думает: «Давайте, давайте, большевички, я пока что поучусь в тифлисской семинарии, все равно потом пятилетними планами буду заниматься лично я».

Непонятно отчего – по контрасту с утренним энтузиазмом? – во второй половине дня я отождествлял знание с недоверием. Поэтому хотелось изучать что-то такое, что позволило бы опереться на факты, в противовес утренним материям, которые можно было только брать на веру.

По причинам в высшей степени случайным я пристал к семинару по Средневековью и начал писать диплом о судебном процессе по делу ордена тамплиеров. История тамплиеров очаровала меня с первой минуты, как только я увидел первый документ. В тот период, когда все были против властей, меня чистосердечно возмутило это стародавнее судопроизводство, мягко говоря подтасованное от первого до последнего слова, в результате которого многие тамплиеры пошли на костер. Но кроме этого, я обнаружил, что в самом скором времени после того, как всех их отправили на костер, толпы охотников за чудесами начали находить тамплиеров повсеместно, как правило, без единого доказательства. Эти визионерские излишества бесили мою недоверчивую натуру, и я решил не терять время на охотников за чудесами, ограничив свой материал только документами эпохи. Храмовники-тамплиеры – для меня это понятие охватывало конкретный монашески-рыцарский орден, существовавший постольку, поскольку он был признан церковью. Когда же церковь распустила этот орден, а это она сделала около семисот лет назад, тамплиеры больше не могли существовать, а те, кто существовал, не были тамплиерами. По этому принципу я выписал около сотни книг, однако в конце концов прочитал только тридцать.

Мои отношения с Якопо Бельбо завязались именно благодаря тамплиерам, в баре «Пилад», в эпоху, когда я сочинял свой диплом, в самом конце тысяча девятьсот семьдесят второго года.

8

Пришедший от света и от богов, вот я в изгнании, отделенный от них.

Рукописи Наг Хаммади, фрагмент Турфа'н М7.

Turfa'n M7

Бар «Пилад» в те далекие времена являл собою порто-франко, галактическую таверну, в которой пришельцы с Офиука, осаждавшие в те времена Землю, встречались совершенно беспрепятственно с людьми Империи, охранявшими пояса Ван Аллена. Это был старый бар около канала, со стойками из цинка, бильярдом и всеми трамвайщиками и ремесленниками района, заходившими по утрам для приема первой порции беленького. В шестьдесят восьмом и в последующие годы «Пилад» превратился в настоящее кафе Рика из «Касабланки», где активист студсовета играл в карты с журналистом, прислужником желтой прессы, только что подписавшим передовицу и явившимся за своим законным «виски-беби», в то время как первые грузовики разъезжались по городу развозить капиталистическую пропаганду. У Пилада почему-то все акулы пера объявляли себя эксплуатируемыми пролетариями, производителями прибавочной стоимости, прикованными к идеологическому конвейеру. Студенты жалели и прощали их.

От одиннадцати до двух ночи – это было время издательских работников, архитекторов, хроникеров, мечтавших дорасти до отдела культуры, художников из Бреры, сочинителей средней известности и дипломников вроде меня.

Минимальная степень алкогольного опьянения являлась обязательной, и старичок Пилад, продолжая держать бутылки крестьянского белого для трамвайщиков и аристократов, учел новый контингент, уничтожил как класс шипучку и портвейн и завел у себя марочные игристые вина для демократических интеллектуалов и виски для революционеров. На примере пиладовских виски я берусь проследить развитие политической истории с тех пор и до нашего времени с хронологической привязкой – сначала к «Джонни Уокеру» с красной этикеткой, потом – к «Баллантайну» двенадцатилетней выдержки и наконец – к солодовым сортам.

С появлением новой публики Пилад не тронул старого бильярда, на котором теперь художники с трамвайщиками играли в кегли, однако установил еще и флиппер.

Когда играл я, шарик жил так недолго, что, можно сказать, совсем не жил. Я считал, что виной тому рассеянность, неловкость – но настоящую причину я понял значительно позднее, когда увидел, как играет Лоренца Пеллегрини. Сначала я не заметил Лоренцу, но поневоле уперся в нее глазами, проследив линию взора моего друга Якопо Бельбо.

Бельбо в баре обычно имел такой вид, будто впервые вошел минуту назад. Между тем он обитал там уже не менее десяти лет. Иногда он участвовал в разговорах, как у стойки, так и за столиками, однако почти всегда подавал одну-две реплики, охлаждавшие любой энтузиазм, чем бы энтузиазм ни был вызван. Для замораживания собеседника использовалась специальная техника вопроса. Некто рассказывал нечто, занимая внимание публики, а потом Бельбо подымал свои водянистые очи, донельзя рассеянные, держа бокал где-то на бедре, как будто он давно о нем позабыл, и в такт вежливо переспрашивал: «И вот так оно и было?» или: «И вот он так сказал?» Не могу точно объяснить механику, но после двух подобных вопросов кто угодно начинал сомневаться в сообщаемой информации, в первую очередь рассказчик. Возможно, дело в пьемонтском выговоре, из-за которого утвердительная интонация звучала как вопросительная, а вопросительная как издевательская. Безусловно пьемонтской была у Бельбо эта манера держаться – не встречаясь взглядом с собеседником, но и не отводя глаза. Взгляд

Бельбо не устранился от диалога. Он попросту прогуливался по пространству и отыскивал точку конвергенции параллельных, которая до той поры не ощущалась как таковая, благодаря чему у вас появлялось ощущение, будто все предыдущее время вы тупо пялились в то единственное место, которое не имеет никакого значения.

Бельбо работал не только взглядом. Он мог и жестом, и одним междометием отправить вас куда угодно. Я имею в виду: предположим, вы пытаетесь убедить свой столик, что Кант произвел коперникианский переворот в философии нового времени, и многие надежды возлагаете на успех этого выступления. Бельбо, сидящий против вас, в какой-то момент начинает разглядывать ногти или колени или прикрывает усталые веки, на устах показывается этрусская улыбка, или он замирает на секунду с разинутым ртом, глаза в потолок, а потом шелестит самым ласковым шепотком: «Вот чего мы не ждали бы от Канта...» Если же вами описывался де-факто сокрушитель системы трансцендентального идеализма, Бельбо переспрашивал: «Он действительно был такой буйный?» Потом великодушно взирал на вас, как будто вы, а вовсе не он, развалили все обаяние теории, и говорил: «Интересно, интересно. Я вас перебил, извините. В этом что-то есть... Определенно. Большой фантазии был человек...»

Периодически, когда он бесился, он проявлял себя беспардонно. Поскольку единственным, что могло его взбесить, была беспардонность ближнего, его собственная ответная беспардонность носила внутренний, частный характер. Он закатывал глаза, качал головой и произносил вполголоса: «Вынул бы пробку». Кому же был неизвестен смысл этого пьемонтского выражения, он мог и объяснить: «Надо иногда вынимать пробку. Чтобы избежать взрыва. Надутый человек находится в опасности. Вытащив пробку из зада, п-ш-ш-ш, вы возвращаетесь в натуральное состояние».

Подобные реплики подчеркивали тщету всего, и я очаровывался. Однако извлекал ложные выводы. В ту пору фразочки Бельбо мне казались образцом высшего презрения к банальности чужих истин.

Только теперь, после того как я взломал, вместе с секретом Абулафии, секрет психологии Бельбо, я вижу: то, что я принимал за высшую трезвость и что считал принципом жизни, было проявлением подавленности. Депрессивным интеллектуальным либертинажем он маскировал неутоленную жажду абсолюта. Это было трудно уловить с первого взгляда, потому что в Бельбо моменты бегства, колебания, отчужденности компенсировались моментами безудержной говорливости, когда он, в экстазе от собственного неверия, создавал альтернативные абсолюты. Это было, когда он вдвоем с Диоталлеви выдумывал учебники невозможного, миры наизусть, библиографические тератологии. И, видя его энтузиазм, страсть, с которой строил он свою раблезианскую Сорбонну, невозможно было догадаться, насколько болезненно переживал он уход с факультета теологии – с настоящего.

Я только потом понял, что я-то вычеркнул из своей жизни адрес этого факультета, а он не вычеркнул, а потерял, и это не давало ему покоя.

Среди файлов Абулафии я обнаружил много страниц псевдодневника, который Бельбо доверил дискетам, убежденный, что они не выдадут его и не развенчают настойчиво создаваемый им образ обыкновенного наблюдателя. Некоторые были датированы давними годами. Ясно, что Бельбо переписал в компьютер старые заметки – то ли просто так, из sentimentalного чувства, то ли собираясь их литературно обработать. Другие отрывки относились к последнему времени, к последним нескольким годам, когда он уже познакомился с верным Абу. Бельбо писал ради механического упражнения, ради одинокой «работы над ошибками», уверяя себя, что не «творит» и не имеет никакого отношения к творчеству, так как творчество, даже когда порождает ошибку, всегда диктуется любовью к кому-то, кто не является нами. Однако Бельбо, сам того не зная, обходил сферу по другому полушарию и приходил в ту же

точку. Он творил, хотя лучше бы было ему не творить. И в этом берет начало его любовь к Плану – именно из потребности написать Книгу, пусть даже состоящую из только – исключительно и всецело – намеренных ошибок. Кувыркаясь в своей пустоте, вы можете убеждать себя, будто состоите в общении с Единым. Но как только вы начали возиться с глиной, пускай даже электронной, вы – Демиург. И от этого никуда не деться, а кто собирается сотворить мир, тот неизбежно уже запятнан и ошибками и злом...

Имя файла: **Есть три жены у сердца моего...**¹⁹

Вот так вот: *toutes les femmes que j'ai rencontrées se dressent aux horizons avec les gestes piteux et les regards tristes des sémaphores sous la pluie...*²⁰

Бери повыше, Бельбо. Первая любовь – Пречистая Дева. Мама держит меня на коленях и укачивает, хотя я уже вышел из возраста колыбельных, но все равно прошу ее, чтоб она мне пела, потому что люблю ее голос и запах лаванды от ее груди: «О царица в эмпиреях, ты, чистейшая, святая, славься, Дева, славься, мать, мать Господа Христа».

Итак, первая жена в моей жизни была не моей, как, с другой стороны, следует заметить, не была и ничьей, по определению. Первым делом я влюбился в единственную жену, способную целиком и полностью обходиться без меня.

Потом была Марилена (Мерилена? Мэри-Лена?). Лирически описать сумерки, золотые пряди, голубой бант. Я, вытянувшийся по струнке, задравши нос, перед скамейкой, – она, прогуливающаяся по верху спинки, раскинув руки, чтобы регулировать колебания (обольстительные экстрасистолы). Юбочка легонько колыхнется вокруг розовых ног. Высота, недоступность.

Наплыв: тот же самый вечер, мама, присыпающая боротальком розовые округлости моей сестры. Я спрашиваю, когда же у сестры наконец отрастет pistolетик, и мне сообщается в ответ, что у девочек ничего не отрастает, они так и живут без этого. В тот же миг у меня перед глазами снова Мэри-Лена, белизна ее белья, видного под куполом голубой юбки, когда эта юбка развевалась, и я понимаю, что она белокура и надменна, потому что принадлежит к иному миру, с которым нет и не может быть никакого контакта, принадлежит к иной расе.

Третья жена сразу же низверглась в пропасть, где погребена. Только что она уснула во сне, бледненькая Офелия в цветах, в своем девическом гробе, и священник вычитывает над нею поминальную молитву, внезапно она столбом встает над катафалком, насуспенная, белая, мстительная, воздев перст, пещерным голосом: «Отче, не молись за меня. Этой ночью, до сна, я зачала нечистый помысел, единственный в моей жизни, и посему я – душа проклятия». Надо найти учебник, который я зубрил перед первым причастием. Была в нем картинка или все это – целиком моя фантазия? Разумеется, нечистая мысль перед смертью отроковицы относилась ко мне, нечистый помысел – был я, нечисто мысливший о Мари Лене, неприкосновенной, инакого бо назначения, рода. Я виновник ее проклятия, я виновник проклятия всех, кто проклят, и поделом мне, что не моими были три жены: это наказание за то, что я их желал.

¹⁹ Данте, *Rime*, канцона CIV, 1. Речь идет об аллегориях Справедливости, Правды и Законности.

²⁰ Тех женщин, что я знал, на горизонте тень: Их жесты жалобны, и взоры их печальны, Как семафоры под дождем... Блез Сандрар (фр.).

Оставим первую, потому что она в раю, вторую, потому что она в чистилище грустно алчет мужественности, которая у нее не отрастет никогда, и третью, потому что она в аду. Теологически закруглено. Так уже писал до меня один господин.

Но была еще Цецилия, и Цецилия никуда с нашей грешной земли не делась. О ней я помышлял, засыпая, я поднимался на гору, я шел за молоком на ферму, а партизаны с противоположной горы открывали стрельбу по контрольно-пропускному пункту, и тут я приходил на помощь, я спасал Цецилию от своры черных полицаев, которые гнались за нею с автоматами на изготовку. Златоглавее Мэри-Лены, притягательнее гробовой отроковицы, чище и святее Пречистой Девы. Цецилия земная и доступная, чуть-чуть еще, и я мог бы заговорить с нею, я был убежден, что она способна полюбить существо моей породы, тем более что она уже любила такое существо, именовавшееся Папи, с белыми всклокоченными волосами на крошечном черепе, годом старше меня, и обладавшее саксофоном. У меня же не было и трубы. Я ни разу не видел их вместе, но ребята в классе шушукались, подпирая друг друга локтями, подхихикивая, что эти двое «живут». Разумеется, они все выдумывали, крестьянские малолетки, похотливые, словно козы. Больше всего им хотелось уверить меня, что она (Она – Пресветлая Мэри Цецилия, суженая и супруга) до такой степени доступна, что каждый, кто угодно, может сблизиться с нею. Исключая и в данном случае – в четвертом по очереди, – исключая меня.

Пишут ли романы о подобных вещах? Может быть, надо писать, наоборот, о тех женщинах, которых я избегаю, потому что их я мог иметь? Или мог бы. Иметь. Или первое и второе – стороны одной медали?

В общем, когда неизвестно даже о чем писать, лучше редактировать труды по философии.

9

*И в его деснице труба золотая.
Иоганн Валентин Андреаз, Химическая свадьба Христиана
Розенкрейца.
Johann Valentin Andreae, Die Chymische Hochzeit des Christian
Rosencreutz,
Strassburg, Zetzner, 1616, 1*

В этом файле примечательно упоминание трубы. Позавчера, сидя в перископе, я еще не понимал, до чего это важно. Тогда я располагал только одним контекстом, довольно бледным, маргинальным.

... В долгие гарамонские вечера, бывало, Бельбо, замученный рукописью, подымал глаза от бумаги и начинал говорить, а я слушал, перетасовывая дряхлые офорты Всемирной выставки в макете очередной книги, – он импровизировал на вольную тему, но мгновенно захлопывал раковину при малейшем подозрении, что его могут принять всерьез. Имели место воспоминания прошлого, но единственно в притчевой функции: иллюстрации того, как не следует поступать.

– Конец наш приходит, – пробормотал он однажды.

– Закат Запада?

– Да пусть закатывается... западается. Нет, я насчет пишущих масс. Третья рукопись за неделю. Одна о византийском праве, другая о *Finis Austriae*²¹ и третья о порнографических сонетах Баффо²². Казалось бы, разные вещи, вы не находите?

– Нахожу.

– Ну вот, а во всех в трех много рассуждений о Вождении и Предмете вождения. Великая сила мода. Я еще понимаю насчет Баффо. Но византийское право...

– Киньте в корзину.

– Да нет, все это печатается за счет Центра научных исследований, и вообще не так уж плохо. В крайнем случае позвоню всем по очереди и спрошу, согласны ли они расстаться с этими абзацами. Для их же пользы.

– А как он вставил предмет вождения в византийское право?

– Нашел как вставить. Как вы понимаете, если в византийском праве и был предмет вождения, он был не тот, который думает автор. Предмет вождения всегда не тот.

– Не тот не какой?

– Не тот, который кажется. Когда-то, в возрасте не то пяти, не то шести лет, мне приснилась труба. Златая. В общем, один из тех снов, в которых будто мед бежит по жилам – что-то вроде ночной поллюции еще до половой зрелости. Полагаю, что ни разу в жизни впоследствии я уже не был так счастлив. Никогда. Разумеется, после пробуждения я понял: труба мне только снилась. И заревел, как теленок. Проплакал весь день. Что я могу сказать? Наверно, действительно до войны, а это было в тридцать восьмом, мир был очень нищ. Потому что сегодня, если бы у меня был сын и я увидел его в такой печали, я сказал бы ему: да идем, купим тебе эту трубу. В конце концов, речь шла об игрушке, сколько уж там она могла стоять. Но у моих родителей и в мыслях не было. К деньгам относились серьезно. И так же серьезно внушали чадам: не все, что захочется, можно иметь. Вот я, например, не люблю капустный суп. Ну что в этом преступного, боже мой, разваренную капусту я в рот взять не могу... Но в ответ

²¹ Конец Австрии (*лат.*) – термин С. Цвейга, обозначающий кризис Австро-Венгерской империи накануне Первой мировой войны.

²² Джорджо Баффо (1694–1768) – итальянский поэт.

не говорилось: дело твое, живи сегодня без супа, съешь второе (а мы жили не бедно, у нас каждый день было первое, второе и компот). Не тот случай, никаких капризов, ешь что дают. Единственное, на что они соглашались в порядке компромисса, – это чтобы бабушка вытащила водоросли из моей тарелки. И она тянула их, нитку за ниткой, червяка за червяком, соплю за соплей, и я должен был глотать этот разминированный суп, еще более мерзкий, чем раньше. Однако даже и такие послабления мой папа весьма не одобрял.

– А труба?

Он посмотрел на меня с подозрением: – Почему вам надо знать про трубу?

– Мне ничего не надо. Это вы заговорили про трубу, что-то про предмет вожделения, что он всегда не тот.

– Труба. Должны были приехать дядя и тетя из ***. У них детей не было, я был любимый племянник. Они узнали, что я оплакиваю эту призрачную трубу, и сказали, что берутся все уладить. Что завтра мы пойдем в торговые ряды, где есть целый прилавок игрушек, и я выберу самую лучшую трубу. Ночь я не спал, все утро следующего дня трясся. Наконец мы пошли в торговые ряды. Там были трубы как минимум трех конфигураций. Латунная штамповка. Но мне они казались кипящей медью земли обетованной. Там был походный горн, тромбон с раздвижной кулисой и некая псевдотруба, потому что у нее был раструб и она была золотая, но с клавишами от саксофона. Я не знал, какую выбрать. Замялся – в этом была, видимо, моя ошибка. Мне нравились все три, а им могло показаться, что ни одна не нравится. Тем временем, скорее всего, дядя и тетя посмотрели на ценники. Дядя с тетей были не жадные, однако, вероятно, они увидели, что есть вещь и подешевле – кларнет из бакелита, черный, с серебряными клапанами. «Может быть, тебе это хочется?» – спросили они, указывая на кларнет. Я попробовал кларнет. Он блял как положено кларнету. Я попытался внушить себе, что кларнет – это то, что надо, а в это время мой мозг работал на высоких скоростях и приходил к выводу, что дядя и тетя уламывают меня на кларнет, потому что он дешевле. Труба же, как я начинал думать, стоила целое состояние, и я не мог требовать от дяди и тети такой жертвы. Меня всегда учили, что когда тебе предлагают что-то хорошее, надо сразу ответить «спасибо, нет». И даже не один раз, не тянуть руку сразу вслед за «нет», а дожидаться, чтобы даритель настоял, сказал: пожалуйста, возьми, доставь мне удовольствие. Только после этого благовоспитанный ребенок сдается. Поэтому я сказал, что, наверно, мне не так уж и хочется трубу. Что, наверно, кларнет тоже хорош, если им так кажется. И снизу заглянул им в лица, надеясь, что они переспросят. Они не переспросили. Царствие им небесное. Они были просто счастливы, что могут подарить мне кларнет, раз уж, сказали они, именно о кларнете я так мечтал. Пути обратно не было. Мне купили кларнет.

Он глянул на меня с подозрением: – Хотите знать, снилась ли мне потом опять труба?

– Нет, – сказал я. – Хочу выявить предмет любви.

– А, – отозвался он, снова берясь перелистывать рукопись. – Видите, вот и вы заиклены на этом предмете любви. В данных вопросах обычно все врут как могут. Да... Ну а если бы мне купили трубу? Был бы я на самом деле счастлив? Что вы скажете, Казобон?

– Вам бы приснился кларнет.

– Нет, – сухо сказал он. – Кларнетом я только владел. Ни разу не играл.

– Кларнеты детям не игрушка...

– Я на кларнете не играл, – отчеканил он, и я почувствовал себя паяцем.

10

И наконец, не иное выводится каббалистически из vinum (вина), как VIS NUMerorum (сила чисел), на которых и основана сказанная Магия. Чезаре делья Ривьера, Магический мир Героев. Cesare della Riviera, Il Mondo Magico degli Eroi, Mantova, Osanna, 1603, p. 65—66

Но я говорил о первом разговоре с Бельбо. Мы виделись и раньше, перекидывались репликами в пиладовском баре. Знал я о нем мало – только что он работал в «Гарамоне». Книги этого издательства я читал в университете. Издательство маленькое, серьезное. Юноше, трудящемуся над дипломной работой, обычно импонирует знакомство с сотрудником престижного издательства.

– А вы чем занимаетесь? – спросил он однажды вечером, притиснутый рядом со мной к дальнему углу цинковой стойки «Пилада» в жуткой давке по случаю праздничного нашествия посетителей. В ту эпоху все обращались друг к другу на «ты» – студенты к преподавателям и преподаватели к студентам. Что уж говорить об аборигенах «Пилада». «Закажи и мне выпивку», – бросал студент в битловке главному редактору крупной газеты. Похоже было на Петербург молодости Шкловского. Сплошные Маяковские и ни одного Живаго. Бельбо не сопротивлялся общепринятому «ты», однако было ясно, что для него это синоним всего самого отвратительного. Он принимал игру в «ты» как бы чтобы продемонстрировать, что отвечает на хамство хамством, но что в его глазах существует пропасть между дружбой и амикошнством. Настоящее «ты», которое, как в старину, символизировало дружбу либо любовь, на моей памяти у него находилось для считанных людей. Для Диоталлеви и двух-трех женщин. К тем, кого он уважал, но знал не слишком давно, он обращался на «вы». Так он разговаривал и со мной все то время, что мы проработали вместе, и я гордился этим почетом.

– А вы чем занимаетесь? – обратился он ко мне, и, как я теперь понимаю, это был знак высшей симпатии.

– В жизни или на этой сцене? – отозвался я, обводя взором пиладовские подмости.

– В жизни.

– Учусь.

– Ходите в университет или учитесь?

– Смешно сказать, но одно не всегда исключает второе. Я пишу диплом о тамплиерах.

– Ой, как нехорошо, – отозвался Бельбо. – Разве это не тема для сумасшедших?

– Почему? Сумасшедшими я как раз занимаюсь. Они герои большинства документов.

Вы что, соприкасались с этой темой?

– Я служу в издательстве, а в издательствах половина посетителей нормальные, половина – сумасшедшие. Задача редактора – классифицировать с первого взгляда. Кто начинает с тамплиеров, как правило – псих.

– Можете не продолжать. Им имя легион. Однако не все безумцы начинают с тамплиеров. Как вам удается опознавать прочих?

– Есть технология. Могу вас научить, как младшего товарища. Кстати говоря, как вас зовут?

– Казобон.

– А это не герой «Миддлмарч»²³?

– Не знаю. В любом случае, был такой филолог в эпоху Возрождения. Но он мне не родня.

²³ «Миддлмарч» (1869–1872) – роман английской писательницы Джордж Элиот. В нем действует Джордж Казобон, автор сочинения «Ключ ко всем мифологиям».

– Ладно, замнем. Выпьете еще что-нибудь? Еще две порции, Пилад. Спасибо. Итак. Люди делятся на кретин, имбецилов, дураков и сумасшедших.

– Кто-нибудь остается?

– Я-то уж точно. Хотя и вас обижать не хочется. Если сформулировать точнее, любой человек подпадает под все категории по очереди. Каждый из нас периодически бывает кретин, имбецилом, дураком и психом. Исходя из этого, нормальный человек совмещает в разумной пропорции все эти компоненты, иначе говоря, идеальные типы.

– Идеальтюпен.

– А. Вы и по-немецки можете.

– Приходится. Все библиографии по-немецки.

– В мои времена, кто знал немецкий, никогда не защищался. Так и проводил всю жизнь – зная немецкий. Теперь это, кажется, происходит с китаистами.

– Я не сильный спец в немецком. Так что не теряю надежды защититься. Но вернемся к вашей типологии. Что делать с гениями – с Эйнштейном, скажем?

– Гений – это тот, кто играет всегда на одном компоненте, но гениально, то есть питая его за счет всех остальных. – Он поднял свой стакан и к кому-то обратился: – Привет, красавица. Ты опять травилась?

– Нет, – отвечала прохожая. – Я теперь в коммуне.

– Молодец, – похвалил ее Бельбо и опять повернулся ко мне: – А потравиться всей коммуной им слабо.

– Вы говорили о сумасшедших.

– Надеюсь, вы не собираетесь уверовать в меня, как в бога. Я не открываю смысл жизни. Я говорю конкретно – о поведении умалишенного в издательстве. У меня теория ad hoc, договорились?

– Договорились. Теперь моя очередь платить.

– Валяйте. Пилад, пожалуйста, поменьше льда. А то совсем опьянеем. Так вот. Кретин лишен дара речи, он булькает, пускает слюни и не попадает мороженым в рот. Он входит в вертящуюся дверь с обратной стороны.

– Это невозможно.

– Это смотря для кого. Для него – возможно. Исключаем кретина из круга исследуемых феноменов. Кретин легко узнаваем и по издательствам не ходит. Отбросим.

– Отбросим.

– Имбецила узнать труднее. Необходимо учесть весь комплекс социального поведения. Имбецил – это тот, кто попадает пальцем в лужу.

– Пальцем в небо.

– Нет, пальцем в лужу. – И он погрузил палец в озерцо спиртного на буфетной стойке. – Когда хочет попасть в стакан. Рассуждает о содержании стакана, но, так как в стакан не попал, рассуждает о содержимом лужи. Попросту говоря, это специалист по ляпсусам, он спрашивает, как здоровье супруги, как раз у кого сбежала жена. Я передал идею?

– Передали. Знакомый тип.

– Имбецилы очень ценны в светских ситуациях. Они конфузят всех, но создают неисчерпаемые поводы для разговоров. Есть безвредный подвид имбецила, он часто выступает дипломатом. Он способен говорить только о луже, не о стакане, и поэтому если бестактность допустили другие, имбецил автоматически переключает разговор. Это удобно. Однако и он нас не интересуется, он не самостоятелен, его ставят только на подачу мячей, он рукописи по издательствам не носит. Имбецил не говорит, что кошки лают, он просто говорит о кошках, когда люди говорят о собаках. Он путается в светской беседе и, когда обделается как следует, – восхитителен. Это вымирающий вид, средоточие дивных буржуазных добродетелей. К нему требуется салон Вердюренов или даже Германтов. Нынешнему студенчеству знакомы эти фамилии?

– Нынешнему студенчеству – да.

– Имбецил – это Жоашен Мюрат, выплясывающий на кровном жеребце перед офицерским строем. Вдруг он видит одного, в орденах, с Мартиники. «Вы негр?» – обращается к нему Мюрат. «Так точно, высокопревосходительство!» На что Мюрат: «Молодцом! Продолжайте, продолжайте!» Знаете эту байку? Прошу извинить, но сегодня я отмечаю исторический поворот судьбы. Я бросил пить. Еще по одной? Не реагируйте, а то мне сделается очень стыдно. Пилад!

– А дураки?

– Да. Специфика дурака проявляется не в типе поведения, а в типе мышления. Дурак начинает с того, что собака домашнее животное и лает, и приходит к заключению, что коты тоже лают потому, что коты домашние... Или что все афиняне смертны, все обитатели Пирея смертны, следовательно, все обитатели Пирея афиняне.

– Что верно.

– По чистой случайности. Дурак способен прийти к правильному умозаключению, но ошибочным путем.

– А что, лучше приходиться к ошибке, но рационально?

– Еще бы, а иначе зачем было делаться с таким трудом рациональными животными?

– Крупные человекообразные обезьяны произошли от низших форм жизни, люди происходят от низших форм жизни, следовательно, люди являются крупными человекообразными обезьянами.

– Для начала неплохо. Вы уже почти уверены, что есть какой-то логический сбой, но, конечно, вам надо еще поработать, чтобы понять где... Дураки коварны. Имбецилы опознаются моментально, не говорю уж о крестинах, в то время как дураки рассуждают похоже на нас с вами, не считая легкого сдвига по фазе. От дурака редактору нет спасения, чтобы от него отделаться, целой жизни мало. Дураки публикуются легко, потому что с первого наскока выглядят убедительно. Издательский редактор не стремится выявлять дураков. Если их не выявляет Академия наук, почему должен редактор?

– И в философии дураков полно. Онтологическое доказательство святого Ансельма – глупость. Бог обязан существовать потому, что я могу вообразить Его как существо, обладающее всеми совершенствами, в том числе существованием. Он перепутал существование представления с существованием сущности.

– Хотя не менее глупо опровержение Гонилона. Я вполне могу думать об острове в море, даже если этого острова нет. Второй дурак перепутал представление случайности с представлением необходимости.

– Турнир дураков.

– Вот-вот, а Господь Бог рад до безумия. Он специально сделался невысказанным, только чтобы доказать, что Ансельм и Гонилон оба дураки. Ничего себе высшая цель творения. То есть я хочу сказать, того деяния, во славу коего Господь Бог сотворил себя. Отлов дураков в космическом масштабе.

– Мы окружены дураками.

– И спасения нет. Дураки все, кроме вас и меня. Ну не обижайтесь! Кроме вас одного.

– По-моему, здесь применима теорема Гёделя.

– Не знаю, я кретин. Пилад!

– Сейчас очередь моя.

– Ладно, ваша следующая. Эпименид Критский утверждает, что все критяне лгуны. Если это говорит критянин и если он хорошо знает критян, он говорит правду.

– Еще одна глупость.

– Святой Павел, Послание к Титу. Пошли дальше. Все, кто полагает, что Эпименид – лгун, по логике должны доверять критянам, но сами критяне не доверяют критянам, следовательно, ни один обитатель Крита не думает, что Эпименид – лгун.

– Это глупость или не глупость?

– Как скажете. Я же говорю, что дурака выявить трудно. Дурак свободно может взять Нобелевку.

– Тогда дайте подумать... Некоторые из тех, кто не верит, что Господь сотворил мир в течение семи дней, не являются фундаменталистами, но некоторые фундаменталисты верят, что Господь сотворил мир в течение семи дней. Следовательно, ни один не верящий, будто Господь сотворил мир в течение семи дней, – фундаменталист. Это глупость или нет?

– Господи помилуй... Как раз тот случай. Не знаю. А вам как кажется?

– В любом случае глупость, даже если все так. Здесь нарушается основной закон силлогизмов. Нельзя выводить универсальные заключения из двух частных посылок.

– А если бы дураком оказались вы?

– Попал бы в большое и хорошее общество.

– Это верно, глупость нас окружает. И так как наши логики обратны, наша глупость – это их мудрость. Вся история логики сводится к выработыванию приемлемого понятия глупости. Она слишком грандиозна. Всякий крупный мыслитель – рупор глупости другого.

– Мысль как когерентная форма глупости.

– Нет. Глупость мысли есть некогерентность другой мысли.

– Глубоко. Уже два, Пилад хочет закрываться, а мы еще не дошли до сумасшедших.

– Сейчас дойдем. Сумасшедших опознавать нетрудно. Это дураки, но без свойственных дуракам навыков и приемов. Дурак умеет доказывать свои тезисы, у него есть логика, косо-бокая, но логика. Сумасшедшего же логика не интересует, по принципу бузины в огороде любой тезис подтверждает все остальные, зато имеется идея фикс, и все, что попадает под руку, идет в дело для ее проталкивания. Сумасшедшие узнаются по удивительной свободе от доказательств и по внезапным озарениям. Так вот, вам может это показаться странным, но раньше или позже сумасшедшие кончают тамплиерами.

– Все?

– Нет, есть сумасшедшие без тамплиеров. Но которые с тамплиерами, опаснее. Сначала вы их не узнаете, вам кажется, что они говорят как нормальные, но в одну прекрасную секунду... – Он потянулся было заказать еще виски, передумал и попросил счет. – Кстати к слову. О тамплиерах. Вчера там у нас один оставил очередную рукопись. По виду он именно сумасшедший, но, как говорится, с человеческим лицом. Угодно ознакомиться?

– С удовольствием. Может быть, найду что-нибудь полезное.

– Не думаю. Но если будет свободных полчаса, загляните к нам. Улица Синчери Ренато, 1. Мне это нужнее, чем вам. Вы мне скажете, есть ли смысл в этой рукописи или нет.

– Почему вы доверяете мне?

– С чего вы взяли, что доверяю? Когда придете, начну доверять. Я доверяю тем, кто проявляет интерес.

Вошел студент и взволнованно прокричал: – Товарищи! Около канала показались фашисты с цепями!

– Где мой железный прут, – сказал тот парень с татарскими усиками, который грозился расправиться со мной за Ленина. – Пойдем со мной, товарищи! – И все поспешно вышли.

– Надо бы пойти? – шепнул я, снедаемый совестью.

– Не надо, – ответил Бельбо. – Это просто Пилад освобождает помещение. Так как сегодня первый вечер, что я бросил пить, чувствую я себя погано. Должно быть, начинается ломка от воздержания. Все, что я вам говорил в течение вечера, включая и данное высказывание, является ложью и только ложью. Спокойной ночи.

11

Его бесплодие было безгранично.

Оно доходило до экстаза.

Э. М. Чоран, Дурной демиург.

*E. M. Cioran, Le mauvais démiurge,
Paris, Gallimard, 1969, Pensées étranglées*

В «Пиладе» я имел дело с «Бельбо для посторонних». Наблюдательный человек догадывался, что его сарказм идет от меланхолии. Непонятно, было ли все это маской, или, может быть, маской был другой вариант – дружеская доверительность. В сарказме «на публику» чувствовалась такая настоящая печаль, что ее трудно было замаскировать – и от себя самого – печалью напускною.

Читая этот файл, я нахожу в олитературенной форме все то, что на научном языке мы обсуждали на следующий день в «Гарамоне»: письмобоязнь в сочетании со страстью к письму и горечь редакторской работы – вечно пишешь от лица подставных лиц, и тоска по несбывшемуся творчеству, и интеллектуальная стыдливость, побуждавшая его казнить и грызть себя за то, что ему хотелось того, на что, по собственному мнению, он не имел права – казнить, выставляя это желание в смешном олеографическом свете. Никогда не видел, чтобы себя жалели с таким презрением.

Имя файла: **Лимонадный Джо**

Завтра встреча с юным Чинти.

1. Монография удачная, новаторская. Чуть-чуть слишком академична.

2. В заключении – сравнительный анализ Катулла, роетae novi²⁴ и современного авангарда. Самое лучшее в тексте.

3. Не пустить ли как введение.

4. Постараться убедить. Он скажет, что в филологической серии эффектный зачин научный руководитель не стерпит. Еще, чего доброго, снимет свое предисловие. Поставить под вопрос карьеру. Гениальная идея, будучи на последней странице, пролетит безболезненно, а на первой притянет внимание и раздражит зубров.

5. Ответ. Но достаточно набрать это место курсивом, что-то вроде взгляда и нечто, отсоединить от ряда собственно исследовательского. Гипотеза останется гипотезой, без ущерба серьезности работы, а читатель сразу будет завоеван, увидит книгу в другой перспективе.

Если разобраться по совести – делаю я подарок этому парню или пишу его руками собственную книгу?

Изменять весь текст с помощью двух-трех поправок. Демиург на чужом горбу. Чем подготавливать сырую глину, мять и выделывать ее – несколько легоньких щелчков по терракоте, из которой уже сформована статуя. Добавь последний штришок, дай разок молотком по голове, она превратится в Моисея, заговорит.

Должен зайти в издательство Уильям Ш.

– Просмотрел вашу вещь, очень, очень неплохо. Умело выстроено, есть напряжение, драматизм. Это у вас первый опыт?

²⁴ Новые поэты (лат.) I в. до н. э. – Валерий Катон, Лициний Кальв, Катулл (определение Цицерона).

– Нет, я вообще-то уже написал одну трагедию про двух любовников из Вероны, которые...

– Лучше поговорим о вашей новой работе. Я вот думаю, почему действие должно разворачиваться обязательно во Франции. А не в Дании, например? Условно говоря? Не так уж много пришлось бы менять. Два-три топонима. Замок Шалон-на-Марне превращается, ну, скажем, в замок Эльсинор... Северный колорит, протестантство, витает тень Кьеркегора, такое, знаете, экзистенциальное напряжение...

– А может, вы и правы.

– Мне кажется так. Потом тут надо бы немножко пройтись по стилю. Чуть-чуть, несколько мелких поправок, вроде как делает парикмахер, прежде чем приставить зеркало к затылку... Вот, к слову, призрак отца героя. Почему он выходит в конце? Я бы, откровенно говоря, выпустил его в начале. Так, чтобы отцовский дух постоянно потом присутствовал и влиял на поведение его сына, принца. Тогда будет яснее и конфликт с матерью.

– В этом что-то есть. И надо только одну сцену перенести.

– Вот именно. Наконец, вопрос стиля. Возьмем любой кусок на пробу, например, когда молодой герой выходит на просцениум и заводит это свое рассуждение насчет действия и бездействия. «Действовать или нет? Вот что надо бы мне решить; сносить бесконечные нападки злобной судьбы...» Почему это только ему надо решить? Я сказал бы, в этом вообще состоит вопрос, понимаете, не его личная проблема, а основной вопрос экзистенции. Так сказать, выбор между бытием и небытием, быть или не быть...

Населяешь мир детищами, которые будут носить чужие фамилии, и никто не узнает, что они твои. Господь Бог в штатском. Ты Господь, ты гуляешь по городу и слушаешь, что о тебе толкуют. Господь да Господь, да какой замечательный мир ему удалось сработать, и какая смелая идея всемирное тяготение, и ты улыбаешься в усы, придется, видимо, ходить в накладной бороде, или нет, наоборот, без бороды, по бороде сразу догадаются, что ты Господь Бог. Ты бормочешь себе под нос (солипсизм Господа – настоящая трагедия): «Так это же я и есть, а никто меня не знает». На улице тебя толкают, могут даже и послать подальше, а ты смущенно извиняешься, увертываешься и проходишь своей дорогой, на самом деле все-таки ты Бог, а это не шутки, по одному твоему чиху мир превратится в головешку. Но ты настолько всемогущ, что можешь себе позволить даже быть добрым.

Роман о Господе Боге инкогнито. Никакой надежды. Раз пришло в голову мне, значит, уже пришло и еще кому-нибудь.

Другой вариант. Ты литератор, хороший или плохой – ты пока не знаешь. Любимая тебе изменила, жизнь перестала иметь смысл, и в некий день, ища забвения, ты грузишься на «Титаник» и терпишь крушение в южных морях. Ты единственный, кто спасся, питаешься пеммиканом, тебя подобрала индейская пирога, и долгие годы ты, неведомый миру, проводишь на острове в обществе одних папуасов, их девушки напевают тебе песни, которые слаще меда, и покачивают грудями, полуприкрытыми гирляндой из цветов пау. Ты прижился на острове, тебя называют Джо, как всех белых, девушка с кожей цвета янтаря приходит вечером к тебе в шалаш и говорит: «Я – ты – твоя». В общем, это прекрасно – вечером на веранде вглядываться в небо,

глядеть на Южный Крест, голова у нее на коленях, ее ладони порхают над твоими волосами. Ты живешь календарем рассветов и закатов и не ведаешь иного. Однажды появляется моторная лодка с голландским экипажем. От них ты узнаешь, что миновало десять лет. Они зовут тебя уехать с ними. Ты колеблешься, ты предпочитаешь заняться бартерным обменом кокосов на мануфактуру, ты руководишь сбором лимонов и открываешь производство лимонада, даешь работу местным индейцам, начинаешь путешествовать с островка на островок, отныне ты сделался в этом мире Джо Лимонадом. Авантюрист португалец, полуразрушенный алкоголем, нанимается на работу к тебе и исправляется, о тебе теперь говорят повсюду в морях Зондского архипелага, ты становишься советником магараджи Брунея в его войне против речных даяков, тебе удается вернуть к жизни старую пушку времен Типпа Сагиба, ты заряжаешь ее железной мелочью, набираешь роту преданных малайцев, с зубами почерневшими от бетеля, и в схватке у Кораллового рифа старый Сампан, с зубами почерневшими от бетеля, закрывает тебя собственным телом: «Я рад умереть за тебя, Лимонадный Джо». Бедный старый Сампан, ты был настоящим другом.

Отныне ты знаменит на этом архипелаге от Суматры до Порт-о-Пренса, у тебя дела с англичанами, в порту Дарвин ты приписан под вымышленным именем Курц, и теперь ты для всех белых Курц и Лимонадный Джо для всех индейцев. Но в один прекрасный вечер, когда девушка тебя ласкает на веранде и Южный Крест сияет так ярко, как никогда до этого не сиял, – до чего он не похож на Медведицу – ты понимаешь, что должен вернуться. Ненадолго, только чтобы посмотреть, что сохранилось от тебя в том, другом мире.

Ты доезжаешь до Манилы в своей моторной лодке, там тебя берут на вертолет, направляющийся в Бали. Потом Самоа, Адмиральские острова, Сингапур, Тананариве, Тимбукту, Алеппо, Самарканд, Бассора, Мальта – и ты дома.

Прошло восемнадцать лет. Жизнь тебя переменяла. Лицо загорело под пассатами и муссонами, ты возмужал, очень хорош собой. И вот ты возвращаешься на родину и видишь, что во всех книжных витринах выставлены твои книги, причем в академических изданиях, и твое имя выбито на фасаде старой школы, где тебя учили читать и писать. Ты – Погибший Поэт, совесть поколения. Романтические девушки кончают с собою над твоей пустой гробницей.

А потом я встречаю тебя, моя любовь, со многими морщинками у глаз, и лицо твое, все еще красивое, печально от воспоминаний и от запоздалого раскаяния. Я чуть не задел, проходя, тебя на тротуаре, вот я здесь, в двух шагах, и ты посмотрела на меня так же, как глядишь ты на всех, выискивая в облике каждого встречного – тень того, кого ищешь. Я заговорил бы с тобою, зачеркнул прошедшие годы. Но для чего мне это? Разве я не получил от жизни все, чего можно желать? Я – Бог, я равен Богу одиночеством, равен тщеславию, равен отчаянием из-за того, что сам не являюсь, как другие, моим созданием. Все живут в моем свете, а сам я живу в непереносимом сверкании моих сумерек.

Ступай, ступай же в мир, о Уильям Ш.! Ты знаменит, ты проходишь рядом со мной и меня не видишь, я бормочу себе под нос: «Быть или не быть?» – и говорю себе: неплохо, Бельбо. Хорошо сработано. А ты валяй,

старичок Уильям Ш., и получай что тебе причитается. Ты ведь только создал. А переделывал я.

Мы, рожающие чужими родами, как актеры, не имеем права лежать в освященной земле. Но грех лицедеев – что они внушают людям, как будто бы наш мир на самом деле устроен иначе. А мы внушаем людям, как будто наш мир бесконечен, и бесконечны иные миры, и неограниченно количество возможных миров.

Как может быть жизнь такой щедрой, выдавать такую неоценимую награду – посредственности?

12

Sub umbra alarum tuarum, Jehova²⁵.

*Слава Братства, цит. по: Всеохватная и всеобщая Реформа всего
целого Мира.*

*Fama Fraternitatis²⁶, Allgemeine und general Reformation der ganzen
weiten Welt, Kassel, Wessel, 1614, fine*

На следующий день я пошел в «Гарамон». Ворота дома номер один по улице Синчери Ренато открывались в мусорную подворотню, за которою виднелся двор, а во дворе – мастерская по ремонту стульев. Направо подъезд с лифтом – экспонатом музея индустриальной археологии. От лифта изошло несколько подозрительных подрагиваний, и никакого движения вверх. Тогда благоразумия ради я поднялся пешком на два этажа по лестнице исключительно обрывистой, в этом смысле приближающейся к винтовой, и невероятно грязной. Как мне сказали впоследствии, господин Гарамон обожал помещение редакции, потому что оно напоминало ему парижские издательства. На площадке виднелась табличка: «Издательство Гарамон А/О». Открытая дверь вела в холл: ни телефонистки, ни секретаря, однако войти было невозможно так, чтобы не быть замеченным из кабинетика напротив, и я немедленно был атакован человеческим существом, похожим на женщину, непонятного возраста и такого роста, который эвфемически принято называть «ниже среднего».

Она напала на меня на языке, который мне показался знакомым, через некоторое время я понял, что это итальянский, но из которого изъяты почти все гласные. В ответ я сказал: «Бельбо». На что был оставлен подождать в коридоре, а затем бюстительница повела меня в дальний конец.

Бельбо встретил меня радостно: – А, так вы серьезный человек. Проходите. – Меня усадили напротив его стола, такого же дряхлого, как и вся обстановка, и так же заваленного папками, как стеллажи по стенам.

– Вас не напугала Гудрун? – сказал он.

– Гудрун? Это мадам из коридора?

– Мадемуазель. На самом деле она не Гудрун. Мы ее так зовем за брунгильдистость и тевтонский акцент. Она синтезирует большинство морфем и экономит на гласных. Но у нее есть чувство симметрии. Когда пишет на машинке, экономит на согласных.

– Что она у вас делает?

– К сожалению, все. В каждом издательстве должно быть лицо абсолютно незаменимое, которое одно в состоянии найти вещи в том бардаке, который само творит. При этом хотя бы, когда теряется рукопись, понятно, на кого орать.

– Она еще и рукописи теряет?

– Все теряют. Во всех издательствах теряют рукописи. Я думаю, это основное, что с ними делают в издательствах. Поэтому нужен козел отпущения. Я огорчен только тем, что она теряет не те. Это вредит процессу, который мой друг Бекон называл the advancement of learning²⁷.

– А куда ж они теряются?

Бельбо в ответ развел руками: – Прощу прощения, вопрос какой-то странный. Если бы знали куда, их бы находили.

²⁵ Под сению крил твоих, Господи (*Псалмы*, 56:2)

²⁶ Устав ордена розенкрейцеров.

²⁷ Продвижение науки (*англ.*).

– Логично, – отвечал я. – А кстати. Издания «Гарамона» подготовлены так тщательно, и книги выходят непрерывно. Сколько человек у вас в редакции? Вы много даете делать на сторону?

– Насчет сколько человек. Напротив через коридор технический отдел. За стеной сидит мой коллега Диоталлеви. Он занимается учебниками, всяким долгостроящим, тем, что долго делают и долго продают, то есть что теоретически остается в продаже всегда. Научную серию всю делаю я. Но вы не думайте, это не так уж неподъемно. Нет, конечно, с некоторыми книгами надо сильно возиться, рукописи надо читать, но в основном это все товар надежный и с бюджетной, и с научной точки зрения. Публикации института имени Такого-то, материалы конференций, подготовляемые и финансируемые университетами. Если автор начинающий, научный руководитель дает к нему предисловие и ответственность вся на научном руководителе. Автор правит верстки, первую и вторую, сверяет все цитаты, примечания, и все это бесплатно. Потом книгу выставляют в магазинах, продают за несколько лет от тысячи до двух тысяч экземпляров, покрывают расходы... Все спокойно, все идет в актив.

– А вы что же делаете?

– Да немало. Прежде всего – надо их отбирать. Кроме того, есть еще книги, которые мы публикуем от себя, как правило, это переводные престижные книги, чтобы держать марку. Наконец, самотек, то, что приносят никому не известные люди. Это, как правило, несъедобно, но всякий раз лучше посмотреть, не судить сразу.

– Вам нравится эта работа?

– Не то чтобы нравится. Это единственное, что я хорошо умею.

Разговор был оборван появлением человека лет сорока, одетого в пиджак с чужого плеча, с белесыми редкими волосами, которые свисали у него на лоб поверх таких же блондинистых бровей. Говорил он нежным голосом, как обычно разговаривают с детьми.

– Тяжелый случай этот Спутник Налогоплательщика. Его надо целиком переписывать, нет сил. Не помешал?

– Это Диоталлеви, – сказал Бельбо, и мы познакомились.

– А, пришли читать тамплиеров? Несчастный человек. Слушай, я предлагаю. Цыганская урбанистика.

– Какая прелесть, – с восхищением сказал Бельбо. – А я думал об ацтекском коневодстве.

– Чудесно. А куда – в супосекцию или в несусветную?

– Погоди, – ответил Бельбо, порылся в ящике и достал оттуда листки. – Супосекция, – разъяснил он, видя мой удивленный взгляд, – как легко понять, это технология нарезания супа. Так ведь дело-то в том, – продолжил он, обращаясь к Диоталлеви, – что супосекция это не подсекция, а одна из наук, наряду с механической предкоавгурацией или же с пилокатавасией, все это – на факультете какопрагмософии.

– Какопраг... – пробормотал я.

– Неприкладного умствования. На этом факультете студенты получают многие неприменимые знания и умения. Так, механическая предкоавгурация есть конструирование автоматов для поздравления дядей и тетей. Можно автоматически поздравить готтентотенпотентатенаттентейторстанте. Тетушку человека, покушавшегося на вождя готтентотов... Мы вот с коллегой еще не решили, оставлять ли в учебном плане пилокатавасию, то есть искусство быть на волосок от. Это, может быть, не совсем ненужно.

– Ну пожалуйста, ну очень прошу, еще немножко, – клянчил я в восхищении.

– Дело в том, что мы с Диоталлеви планируем обновление науки. Организуется университет сравнительных ненужностей, где изучаются науки либо ненужные, либо невозможные. Цель учебного заведения – подготовка кадров, способных открывать и исследовать как можно большее количество Новых Ненужных Научных Проблем – НННП.

– Сколько же там факультетов?

– Пока что четыре, но они могут объять все неинтелигибельное. Факультет какопрагмософии проводит подготовительные курсы, воспитывая в учащихся склонность и тягу к ненужностям. Крупные научные силы сосредоточены на несусветном факультете, большая их часть – на кафедре невозможностей. Примеры: вот как раз цыганская урбанистика или коневодство у ацтеков. Сущность наук, как правило, состоит в выявлении глубинных оснований их ненужности, а для программы несусветного факультета – невозможности. Чтобы дать вам несколько примеров. Морфематика Морзе. История хлебопашества в Антарктиде. Живопись острова Пасхи. Современная шумерская литература. Самоуправление в специнтернатах. Ассиро-вавилонская филателия. Колесо в технологиях доколумбовых цивилизаций. Иконология изданий Брайля. Фонетика немного кино.

– Как насчет социологии Сахары?

– Ничего, – сказал Бельбо.

– Очень даже ничего, – веско повторил Диоталлеви. – Вас надо бы привлечь. Юноша уловил, правда, Якопо?

– Да, я сразу сказал, что он улавливающий. Вчера он доказывал ерунду очень изящно. Но продолжим, учитывая, что тема вас увлекла. Что мы там относили к кафедре оксюмористики, а то я куда-то задевал листок?

Диоталлеви вытащил листок из кармана и приятно посмотрел на меня.

– Под оксюмористикой, как и следует из названия, понимаются обоюдопротиворечивые предметы. Вот почему, с моей точки зрения, цыганской урбанистике самое место здесь...

– Нет, – тут же возразил Бельбо. – Только если урбанистика кочевых племен. Надо различать. Несусветность предполагает эмпирическую невозможность, а оксюмористика – терминологическую.

– Ну ладно. Что у нас тогда в оксюмористике? А, вот. Революционные постановления... Парменидова динамика, гераклитова статика, спартанская сибаритика, учреждения народной олигархии, история новаторских традиций, психология мужественных женщин, диалектика тавтологии, булева эвристика...

Я почувствовал, что дальше отсиживаться невозможно, и поднял перчатку.

– Могу я предложить грамматику анаколуфов?

– Хорошо! Хорошо! – отозвались один и другой и принялись куда-то записывать.

– Есть загвоздка, – остановил их я.

– Какая?

– Как только о вашем проекте станет известно, к вам повалит народ и захочет публиковаться по этим темам.

– Я тебе говорил, что мальчик вострый, слышишь, Якопо, – произнес Диоталлеви. – Именно в этом и состоит наша главная проблема. Против собственного желания, нам удалось создать идеальную модель реальной науки. Мы доказали необходимость возможного. Лучше нам не обнародовать проект. Я должен идти.

– Куда? – спросил Бельбо.

– Пятница вечер.

– О Господи милосердный, – сказал на это Бельбо. Потом обратился ко мне: – Тут напротив через улицу живет несколько семей правоверных евреев, знаете, таких, в черных шляпах, с бородами, с пейсами. Их в Милане почти совсем нету. Сегодня пятница и после заката начинается суббота. В это время в доме напротив как раз готовятся, чистят семисвечники, жарят и варят, все так раскладывают, чтобы на завтра можно было бы ничего не делать и не зажигать ни свет, ни газ. Даже телевизор работает у них всю ночь, только приходится примириться с тем, что нельзя переключать каналы. Наш друг Диоталлеви через свою подозрительную трубу бессовестно подглядывает из окна за евреями и тает от восторга, воображая себя тоже там, по ту сторону улицы.

– А почему? – спросил я.
– Потому что наш друг Диоталлеви настойчиво утверждает, будто он еврей.
– То есть как это утверждаю? – обидчиво спросил Диоталлеви. – Я еврей. Вы что-то имеете против евреев, Казобон?

– Кто, я?
– Диоталлеви, – решительно вмешался Бельбо. – Ты не еврей.
– Не еврей? А как же моя фамилия? «Храни тебя Бог». Наряду с Грациадио – «Богу хвала», Диосиаконте – «С тобой Бог» – все это переводы с еврейского, это имена из гетто, типа Шолом-Алейхем, что означает «мир вам».

– Диоталлеви – самое обыкновенное имя, которое давали в приютах подкидышам. А твой дедушка был подкидыш.

– Еврейский подкидыш.
– Диоталлеви, у тебя розовая кожа, горловой голос и ты почти альбинос.
– Есть же кролики альбиносы, могут быть и евреи альбиносы.
– Диоталлеви, нельзя стать евреем по собственному желанию, как становятся филателистами или свидетелями Иеговы. Евреем можно только родиться. Успокойся, ты такой же гой, как и все остальные.

– Нет, я обрезан.
– Опять за свое. Каждый может обрезаться из гигиенических соображений. Достаточно договориться с фельдшером, у которого есть термокаутер. С какого возраста ты обрезан?

– Не будем уточнять.
– Ну почему же. Как раз лучше бы уточнить. Евреи всегда все уточняют.
– Никто не докажет, что мой дедушка не был еврей.
– Разумеется, раз он был подкидыш. Но с таким же успехом он мог бы быть и наследником византийского трона, и побочным сыном Габсбургов.

– Никто не докажет, что мой дедушка не был еврей. Его нашли около гетто.
– Но твоя бабушка не была еврейкой, а счет родства у евреев ведется по материнской линии.

– Да, но есть голос крови, а голос крови подсказывает мне, что у меня изысканно талмудичный склад ума. Надо быть подлым расистом, чтобы утверждать, будто какие-то гои способны на такую талмудическую изысканность, на какую способен я.

С этими словами он вышел. Бельбо сказал: – Не обращайтесь внимания. Этот разговор повторяется постоянно, и я каждый раз изобретаю по одному новому аргументу. Дело в том, что Диоталлеви помешался на Каббале. Не хочет слышать, что бывают и каббалисты-христиане. А вообще, знаете, Казобон, если Диоталлеви в конце концов так уперся быть евреем, что я с этим могу сделать?

– Ничего. У нас демократия.
– У нас демократия.

Он закурил сигарету. Я вспомнил о цели своего визита. – Вы говорили о тамплиерской рукописи, – сказал я.

– Ах да. Сейчас. Она была в папке из кожзаменителя. – Он прошелся пальцами по пирамиде рукописей и попробовал вытащить одну из середины, при этом не нарушив равновесие. Рискованный замысел – и действительно половина рукописей ухнула на пол. В руках у Бельбо осталась папка «под кожу».

Я просмотрел оглавление и вступление. – Речь идет об аресте храмовников. В 1307 году Филипп Красивый решил арестовать всех храмовников Франции. Легенда, однако, гласит, что, за два дня до того как были подписаны ордера на арест, некий воз, груженный свежим сеном и влекомый быками, выехал из подъезда Храма, в Париже, и взял неизвестный курс. Говорили, что в нем спряталась группа рыцарей под водительством некоего Омона и что они укры-

лись в Шотландии, объединившись вокруг ложи каменщиков в Килвиннинге. Согласно этой легенде, рыцари-храмовники внедрили в бригады каменщиков, которым и передали секреты Храма Соломона. Именно это я и предвидел. Этот человек тоже пытается приурочить зарождение масонства к моменту бегства храмовников в Шотландию. Эта версия муссируется вот уже два века. Она ни на чем не основана. Доказательств нет. Я могу положить вам на стол пятьдесят книг, и во всех рассказывается именно это, и все перебирают друг у друга. Смотрите сюда, вот я открыл на случайном месте: «Доказательство высадки тамплиеров в Шотландии состоит в том факте, что даже и сейчас, через семьсот пятьдесят лет, в мире сохраняются тайные ордена, которые считают себя наследниками Гвардии Храма. Как иначе объяснить подобную преемственность?» Видели? Как можно сомневаться в существовании маркиза Карабаса, если Кот утверждает, что он у него на службе?

– Все ясно, – сказал Бельбо. – Я ему дам отказ. Однако это дело с тамплиерами, по моему, любопытное. Раз в жизни мне попался информированный человек, и было бы глупо так просто вас отпустить. Объясните мне, почему все занимаются храмовниками и никто не занимается мальтийскими рыцарями. Нет, сейчас не начинайте. Уже поздно. Мы с Диоталлеви через несколько минут должны ехать ужинать с господином Гарамоном. Но где-то в пол-одиннадцатого все это кончится. Я охотно увиделся бы с вами в «Пиладе», постараюсь привести также и Диоталлеви, хотя он непьющий и ложится рано. Вы будете там?

– Где мне еще быть? Я ведь потерянное поколение, и если кто меня хочет найти – пусть ищет там, где собираются все потерянные... Там и увидимся.

13

*Li frere, li mestre du Temple
Qu'estoient rempli et ample
D'or et d'argent et de richesse
Et qui menoient tel noblesse,
Où sont il? que sont devenu?²⁸*

*Хроника-продолжение «Романа о Фовеле»,
Жерве дю Бю, нач. XIV в.
Gervais du Bus, Chronique à la suite du roman de Fauvel*

Et in Arcadia ego. «Пилад» тем вечером представлял собой типичную картину золотого века. Буквально в воздухе витало предчувствие, что революция не только назрела, но и нашла себе спонсора – Союз Промышленников. Владелец трикотажной фабрики (битловка, борода) играл в подкидного дурака с будущим террористом в двубортном костюме и в галстук. Лома-лась парадигма. Еще в начале шестидесятых годов борода была признаком фашизма – шкипер-ская, в духе Итало Бальбо; в шестьдесят восьмом она стала означать революционность, а потом приобрела нейтральный смысл в духе «Я выбираю свободу». В любую эпоху борода заменяет маску; фальшивую бороду лепят, чтобы не быть узванными; но в те времена, в начале семи-десятих, можно было маскироваться настоящей. Можно было лгать, говоря правду, правда становилась туманной и ускользала от понимания. Пред лицом подобной бороды вряд ли могла пройти любая бравада бородою. Однако этим вечером самая искренняя борода рисо-валась даже и на бритых лицах, ее не носивших, но намекающих, что непременно бы носили, да дух противоречия не позволяет.

Бог с ним. Наконец предо мною предстали Бельбо и Диоталлеви. Вид у них был мучени-ческий, и они не могли говорить ни о чем, кроме перенесенного ужина. Я тогда еще не пред-ставлял себе ужины с господином Гарамоном.

Бельбо потребовал ежевечернюю дозу, Диоталлеви долго и мучительно выбирал и рас-храбрился на стакан тоника. Мы нашли столик в глубине зала, еще не остывший после двух грузчиков, которые отправились по домам, потому что назавтра вставать было рано.

– Ну, ну, – начал с ходу Диоталлеви. – Тамплиеры.

– Не надо, умоляю. Это можно прочесть в любом учебнике.

– Мы любим сказовый стиль, – сказал Бельбо.

– Это более мистично, – добавил Диоталлеви. – Бог создал мир с помощью слова.

Заметьте, не телеграммы.

– Да будет свет тчк подробности письмом, – отозвался Бельбо.

– Не письмом, а Посланием к фессалоникиянам, – сказал я.

– Давайте о тамплиерах, – сказал Бельбо.

– Значит, – начал я.

– Со значит начинать неграмотно, – запротестовал Диоталлеви.

Я сделал вид, что встаю со стула. Никто не стал умолять сесть. Я сел сам.

– Так вот, это вообще азбучные вещи. Первый крестовый поход. Готфрид, как известно из Тассо, Господен Гроб почтивши, снял обет. Балдуин становится первым королем в Иеруса-лиме. Христианское царство в Святой Земле. Но один разговор Иерусалим, другое дело осталь-ная Палестина. Сарацин побили, а они не угомонились. Жизнь в тех краях не слишком спокой-ная ни для новопоселенцев, ни для паломников. И в этот момент, в тысяча сто восемнадцатом

²⁸ Магистры, братие во Храме, Кто неусыпными трудами Его расширил, укрепил И золотом обогатил, — Где вы теперь? Что с вами случилось? (старофр.)

году, при правлении Балдуина II, девять человек под командой некоего Гуго де Пейнса образуют ядро ордена Бедных Рыцарей Креста: орден монашеский, но с ношением оружия. Три обычных обета: бедности, воздержания и послушания. Плюс к тому обязательство давать защиту паломникам. Король, епископ и прочая иерусалимская верхушка немедленно отстегивают деньги. Им выделяют помещение – в одной из пристроек при старом Храме Соломона. Так они становятся Рыцарями Храма.

– Что это были за люди?

– Скорее всего, романтики крестового похода. Но потом это переменялось. Начали прибавляться к компании обездоленные дураки, младшие сыновья без наследства. Иерусалим – это была та же Аляска, туда ехали за деньгами. В основном те, кому дома ждать было нечего, или прежде судимые. Иностраннный легион. Такой плакатик: ты записался в тамплиеры? Ждут тебя дальние страны, крепких и сильных душой. Кормежка, одежда казенная, под расчет еще и спасение души. Разумеется, с хорошей жизни на это не шли. Жить в пустыне, в палатке, годами не видя человеческих лиц, если не считать других тамплиеров и нескольких турецких рож, потом еще жара, жажда и обязанность вечно потрошить сарацин...

Я перевел дух. – Получается какой-то вестерн. Прошу прощения. На самом деле орден пережил три эпохи, и на уровне третьей этих проблем уже не было и в него записывались даже те, кто отнюдь не бедствовал. Потому что стало не обязательно вербоваться в Святую Землю, можно было работать на материке. Вообще что касается тамплиеров, мне они не вполне ясны. Иногда кажется, что это просто банда, иногда, наоборот, в них есть какое-то изящество. Этнические чистки они проводили по-рыцарски. Они, конечно, били мусульман, потому что такая была их работа... Но когда посол эмира Дамасского прибыл с визитом в Иерусалим, тамплиеры предоставили ему мечеть для отправления культа, невзирая на то что ее уже успели переделать в христианскую церковь. Он себе молится, в этот момент заходит какой-то франк, видит неверного в святом месте и вышвыривает его. Тамплиеры наказали виновного, а перед мусульманином извинились. Это джентльменское отношение к противнику их и погубило, не зря на суде им шили связь с эзотерическими мусульманскими сектами. Может быть, связь и была, точно так же как авантюристы прошлого века заболели Африкой. Тамплиеры были люди без систематического образования, они не понимали многих идейных тонкостей и не думали о них, а одевались в духе Лоуренса Аравийского... Вообще понять причины их действий для меня нелегко, потому что христианские историки, Вильгельм Тирский и прочие, при каждом случае поливают их грязью...

– Почему?

– Потому что тамплиеры слишком усилились, и притом слишком быстро. Все началось со святого Бернарда. Вы представляете себе, кто такой святой Бернард? Гениальный организатор, реформатор бенедиктинского ордена. Из всех церквей велел вынести статуи и украшения. Когда ему не нравится коллега, например Абельяр, он с ним ведет себя по-маккартистски, а в принципе предпочел бы сжечь. Если нельзя, то хотя бы сжечь его книги, что он и сделал. Потом начал агитировать за крестовые походы. Вперед, Святая Земля зовет...

– Симпатяга, – подытожил Бельбо.

– Ненавижу. По мне, его не в святые надо бы, а в самый глубокий круг ада. Но он умел себя подать, посмотрите, на какой пост его определил Данте, пресс-секретарем Пречистой Девы. А с такими суперсвязями и канонизовали его потом быстро. Когда Бернард прослышал о тамплиерах – сразу спикировал на эту идею. Благодаря ему девять авантюристов превратились в *Militia Christi*²⁹, так что можно сказать, что тамплиеров как героический миф изобрел он. В 1128 году он созывает собор в Труа именно для того, чтоб легитимировать этот новый орден монахов-солдат, а через несколько лет пишет более чем положительный отзыв на их деятель-

²⁹ Воинство Христово (*лат.*).

ность и сочиняет статут в семидесяти двух параграфах, где чего только нет. Месса ежедневно, и нельзя иметь связи с рыцарями, отлученными от церкви, однако если те попросят о принятии их в орден – реагировать по-христиански. Видите, я не случайно проводил параллель с Иностранным легионом. Формой будет белая накидка, простая, без меховой оторочки или с оторочкой, но позволятся только ягнячий или же бараний мех. Запрещено носить гнутую или тонкую по моде обувь, спать следует в рубахе и портах, на тюфяке и с простыней и одеялом...

– В жарком климате, могу вообразить эту вонь, – сказал Бельбо.

– О вони отдельный рассказ. Есть иные жесткие ограничения: питаться двоим из одной миски, трапезовать в молчании, мясная пища трижды в неделю, строгий пост по пятницам, вставать на рассвете... ну, если накануне день выдался трудный, разрешается пролежать еще не более часу, но в этом случае надо прочесть в постели тринадцать отченашей. Начальником в ордене назначается магистр; имеется иерархия младших по званию, на нижних ступенях – коневники, оруженосцы, денщики и слуги. Рыцарю полагается набор из трех коней и оруженосца, запрещено украшать стремяна, седла и поводья, оружие должно быть простое, но отличного качества, никакой охоты, за исключением львиной, словом – жизнь военная, богоспасаемая. Не говорю уж о воздержании, на которое сочинитель статута напирает особенно. А ведь наши герои живут не в монастыре, а на людях, если можно звать людьми тот сброд, который тогда наводнял Святую Землю. В уставе сказано, что общества женщин надобно избегать насколько возможно и не целовать никого, кроме матери, сестры и тетки.

Бельбо вставил: – Насчет тетки я бы еще подумал. К слову, тамплиеров разве не обвиняли в содомии? Я помню, в книге Клоссовского, «Бафомет»... Бафомет – какой-то дьявольский идол, которого они чтили...

– Сейчас дойдем. Ну посудите по логике. Жили они по-матросски, месяц за месяцем в пустыне, на рогах у черта. Представьте себе: по ночам ледяной ветер, вы в палатке вместе с другом, с которым едите из одной плошки, страшно, голодно, холодно, хочется к маме. Что дальше?

– Фиванский легион, мужественное объятие, – предположил Бельбо.

– Подумайте об этом адском положении, бок о бок с солдатней, которая никаких обетов не давала, врываясь в город, добыча солдата – мавританочка, золотой нежный живот и ресницы как бархат, а что достается тамплиеру в ароматной тени ливанских кедров? Оставьте ему хотя бы маленького мавра. Понятно вам теперь, кстати, откуда идет выражение «пить и ругаться как тамплиер»? Их удел напоминает мне положение войскового капеллана, который жрет спирт и богохульствует со своими неотесанными подопечными. Уж одного того хватило бы... А тут еще печати. На печатях тамплиеры изображаются по двое, на одной и той же лошади. С чего бы это, если учесть, что по уставу каждому положено три коня? Конечно, Бернард мог считать это удачной находкой в качестве эмблемы бедной жизни или символа двойственного служения: рыцарство-монашество... А теперь представьте себе, как все это выглядело в глазах простого человека: ничего себе монах, гляди-ка, присоседился даже на ходу! Вполне возможно, что все это домыслы...

– Но безусловно они сами нарывались, – продолжил Бельбо. – А что, святой Бернард был такой глупый?

– Не сказал бы... Но он монах тоже, а в те времена монахи странно представляли себе смирение плоти. Я только что извинялся, что мой рассказ слишком походит на вестерн, но вообще такой подход не вполне ошибочен... Я захватил с собой выписку из нашего любимого Бернарда, вот как он описывает идеал поведения тамплиера: «Они презирают и ненавидят мимов, шутов, площадных жонглеров, неблаголепные песни и фарсы, они обрезают волосы коротко, потому что апостол сказал, что не подобает мужчине заботиться о шевелюре. Их никогда не встречают причесанными, очень редко мытыми, их борода клочковата, они покрыты пылью, грязны от ношения брони и от жаркой погоды...»

– Не хотел бы я жить с ними на одной лестнице, – произнес Бельбо.

Диоталлеви отчеканил: – Отшельникам искони была свойственна праведная нечистота, в целях истязания плоти. Не святой ли Макарий жительствовавший на столпе, и когда черви осыпались с его тела, он их подбирал и сажал обратно, потому что и они, божьи твари, имели право на питание?

– Столпник был не Макарий, а Симеон, – сказал Бельбо, – и я думаю, он залез туда, чтобы плевать на голову прохожим.

– Вот это все дух Просвещения злостный, – не смирялся Диоталлеви. – Какая разница, Макарий, Симеон, все согласны, что столпник был кругом в червяках, я не вхожу в подробности, поскольку не интересуюсь мракобесием гоев.

– Твои геронские равнины были сильно чистые, – парировал Бельбо.

– Они ютились в гетто, куда их загоняли вы, милые гои. А ваши тамплиеры воняли по собственному почину.

– Не будем заикливаться на гигиене, – сказал я. – Те же запахи, что в обычной роте после марш-броска. Я обрисовал вам их облик, чтобы вы поняли парадоксальность их жизни. Будь мистичен, будь аскетичен, и не ешь, и не пей, и не совокупляйся, ступай в пустыню и руби башку неприятелям Христовой веры, больше нарубишь – больше дадут талончиков в рай, воняй и не мойся, обрастай шерстью; и еще Бернард требовал от них, чтоб, захвативши город, они не накидывались на девушек или даже на бабушек, без разбору. После этого он думал, что в безлунные ночи, когда, как известно, горячим дыханьем самум палит сновиденья бойца, ни один из них не попробует получить хоть капельку нежности от товарища по палатке. То есть постановка вопроса довольно жесткая. Будь монахом, будь головорезом, кроши врагов и читай авемарию, не гляди в лицо двоюродной сестре, а потом, после месяцев осады, когда город наконец завоеван, другие подразделения на твоих глазах пусть насилуют жену халифа, молоденькие суламифочки пусть сами расстегивают лифчики и говорят: я твоя, только сохрани мне жизнь... Но тамплиеру – нет, ему нельзя ничего, молчи и воняй, так сказал святой Бернард, можешь почитать молитву... Все это прекрасно описывается в *Retraits*...

– Что такое *Retraits*?

– Устав ордена тамплиеров, поздняя редакция, периода заката. Ничего нет хуже армейской скуки, когда война окончена и сушатся портянки. Начальство издает довольно странные законы, скажем, запрещаются драки, нельзя наносить ранения христианину по мотивам мести, нельзя заключать торговые сделки с женщинами, возводить напраслину на собрата. Никто не имеет права терять раба, впадать в бешенство и заявлять: «Я ухожу к сарацинам!» Нельзя по небрежению лишаться коня, нельзя дарить животных, за исключением собак и кошек, отъезжать без позволения, раскалывать печать магистра, по ночам отлучаться из капитанства, одалживать деньги ордена, не имея полномочий, и кидать от злости платье свое на землю...

– По системе запретов можно понять, чем люди занимаются, – перебил Бельбо, – такие себе картинки с натуры.

– Да-да, – подхватил Диоталлеви. – Представьте себе: тамплиер, поругавшись из-за чего-то с товарищами, выезжает ночью без разрешения на коне в сопровождении арапчонка и с притороченными тремя каплунами. Он направляется к девице предосудительного поведения и, ублажив ее каплунами, ведет себя с ней распушенно... В течение грехопадения сарацин удирает с лошастью, и наш тамплиер, еще более грязный, волосатый и вонючий, чем прежде, возвращается поджав хвост и стараясь ни с кем не встречаться. Он выносит толику денег (принадлежащих компании) к ростовщику-еврею, который жаден как жид...

– Твои слова, Каифа, – ввернул Бельбо.

– Жаден как жид, – говорит мировая литературная традиция. Это стереотип. Цель тамплиера – втихаря восстановить если не раба, то хоть какую-нибудь клячу. Но один собрат по тамплиерству подметил это дело и вечером на трапезе, когда плотоядными возгласами

братва приветствует миску с мясом, он подпускает нетактичные намеки. Как известно, закрытые институты всегда змеюшник... Капитан просит объяснений, подозреваемый краснеет, злится, ярится, выхватывает кинжал и бросается на собрата...

– На сикофанта...

– На стукача, если перевести с греческого. Он кидается на эту гадину и уродует ему рожу. Тот в свою очередь хватается меч, затевается свалка. Капитан умирляет забияк оплеухами, товарищи потешаются...

– Пьянствуя и ругаясь как тамплиеры... – подсказал Бельбо.

– В бога, и в душу, и в мать, и в прочих ближних и дальних родственников... – подтвердил я.

– А наш герой совсем расходится и... как бы это выразить?

– Напыщивается! – предложил Бельбо.

– Вот-вот, спасибо, напыщивается и становится в позу и скидает рясу и кидает ее на землю...

– Заберите ваше смердящее тряпье и сгиньте, пропадите вместе со своим Храмом! – Кажется, я вошел в роль. – Да, и вдобавок одним взмахом меча он раскалывает печать магистра и напоследок кричит, что завербует к сарацинам.

– И тем нарушает по крайней мере восемь заповедей.

Пора было переходить к завершению вступительной лекции. – А теперь ответьте мне, пожалуйста, как могли реагировать люди подобной складки, когда их арестовывали королевские стражники и показывали им разогретые щипцы? Признавайся, скотина, расскажи, что вы там засовывали в одно место! Кто, мы? Ах ты сволочь, сильно напугал меня своими железками, да знаете ли вы, на что способен тамплиер, да я засуну что надо в одно место и тебе, и твоему начальству, и римскому папе, и, если доберусь до него, еще и королю Филиппу!

– Сам признался, сам признался! Безусловно, именно так все и происходило, – кивнул Бельбо. – Потом их отправляли в погреб и раз в день обмазывали маслом, чтоб потом лучше жарилось.

– Они совсем как дети, – грустно подытожил Диоталлеви.

Нашу беседу прервала мимоходящая деваха с прыщом на носу и с бумагами под мышкой. Она спросила, поставили ли мы подписи в защиту арестованных аргентинских товарищей. Бельбо поставил подпись, не читая воззвание. – В любом случае этим товарищам хуже, чем мне, – пояснил он растерянному Диоталлеви. Потом обратился к активистке: – Мой друг не может ставить подпись, он член индийской секты, в которой запрещается называть свое имя. В родной стране они сидят как диссиденты. – Девушка сочувственно покивала на Диоталлеви и поднесла бумагу мне. Диоталлеви перевел дух.

– А кого арестовали? – поинтересовался я.

– Как кого? Аргентинских товарищей.

– Да, но как называется группировка?

– Такара, а как?

– Но ведь Такара – это фашисты, – отважился я заметить.

– Сам фашист, – прошипела с ненавистью девушка и ушла.

– В общем, тамплиеры были очень бедные, – подытожил Диоталлеви.

– Да нет, – ответил я. – Это я перестарался, впечатление получилось одностороннее. Рядовые действительно не роскошествовали, но орден в своем комплексе с самого начала стал получать субсидии, чем дальше – тем больше, и постепенно открывались капитанства на территории Европы. Вот к примеру, только от одного Альфонса Кастильского и Арагонского тамплиеры получили в подарок целую страну, то есть он оформил на них завещание и оставил им королевство при условии, если умрет без прямых наследников. Тамплиеры предпочли не пола-

гаться на случай и переоформили документы, получив синицу в руки еще при жизни дарителя, а синица представляла собой полудюжину крепостей по всей Испании. Король Португалии подарил им лес. Лес этот вообще-то был сарацинский, но тамплиеры взялись за его чистку, в два счета выбили оттуда мавров и между делом основали Коимбру. И это только отдельные зарисовки... В общем, картина такая: боевики ездят сражаться в Палестину, но ядро ордена действует на родине. Какие это открывает возможности? Да такие, что если кто-либо направляется в Палестину и не хотел бы путешествовать с золотом и драгоценностями в кармане, он попросту заходит к рыцарям-тамплиерам, в их французские, испанские или итальянские гарнизоны, вносит деньги, берет квитанцию и получает по ней в Палестине.

– Аккредитив, – сказал Бельбо.

– Именно. Это они изобрели систему чеков. Задолго до флорентийских банкиров. Теперь вам должно быть ясно, что на основании добровольных пожертвований, военных контрибуций и поступлений от финансового посредничества орден превратился в международный концерн. Подобная структура могла держаться только на менеджерах высокого класса. Эти люди сумели убедить Иннокентия II предоставить им экстраординарные льготы: орден имел право оставлять себе всю военную добычу и по имущественным вопросам не должен был отчитываться ни перед королем, ни перед епископами, ни перед патриархом Иерусалимским, а только перед папой. Таким образом, они были освобождены от уплаты десятин, но сами имели право облагать десятинной пошлиной все контролируемые территории... В общем, мы имеем дело с фирмой, которая при постоянно активном балансе не подвластна никакой налоговой инспекции. Понятно, почему епископы и коронованные особы не могли их любить, но и без них не могли обходиться. Крестовые походы организовывались с бухты-барахты, народ ехал воевать не зная куда и что его ожидает, а тамплиеры – свои люди в тех краях, они понимали, с кем воюют и на что способен противник, знали местность и теорию и практику ведения там боя... Орден тамплиеров был очень серьезной организацией, хотя не без идиотской лихости...

– Например? – спросил Диоталлеви.

– Просто оторопь берет. Причем в смысле политики и управления они вполне спокойные люди, а на войне – десантники после пьянки, много доблести, мало мозга. Возьмем историю Аскалона...

– Возьмем, возьмем ее, – подпел Бельбо, который гипнотизировал страстными взорами какую-то девушку Долорес.

Та и впрямь подседа к нашему столику: – Я тоже хочу знать про историю Аскалона.

– В один прекрасный день собрались французский король, германский император, Балдуин Третий Иерусалимский и два великих магистра, один магистр тамплиерский, другой магистр госпитальерский, и пошли войной на Аскалон. Все отправились воевать, короли, их дворы, патриарх, попы с крестами и хоругвями, архиепископы Тира, Назарета, Кесарии, все в приподнятом настроении, устроили палаточный городок напротив крепости, знамена, вымпелы, барабанная дробь... Аскалон был защищен ста пятьюдесятью башнями, и обитатели заблаговременно готовились к осаде, каждый дом изрешетили амбразурами, мой дом – моя крепость, тысяча крепостей в крепости. Мне просто кажется, что тамплиеры, при их-то опыте, некоторые вещи должны были сами понимать... Тем не менее все ужасно воспалились, понатащили свиней и черепах, это все такие колесные деревянные конструкции, из которых бабахают во все стороны и кидаются камнями, стреляются стрелами, в то время как с дальней дистанции катапульты лупят по крепости кирпичами. Аскалонцы пытаются поджечь эти черепахи, но ветер дует в противном направлении, огонь перекидывается на стены города, и в определенном месте эти стены рушатся. На приступ! Все рвутся в бой единым духом, и тут происходит странная вещь. Великий магистр ордена тамплиеров велит огородить дыру в стене, так чтобы в город могли пройти только его собственные солдаты. Злые языки утверждают, что он хотел, чтоб награбленное досталось только тамплиерам. Добрые языки возражают, что,

предчувствуя неприятности, он хотел, чтоб тамплиеры приняли огонь на себя. Как бы то ни было, я бы не назначал его командующим сержантскими курсами, так как его решение привело к следующему. Четыре десятка тамплиеров пролетают сквозь город без остановки, шмякаются о противоположную стену, останавливаются и раздумываются, в это время мавры кидаются на них, из всех окошек летят булыжники и льется смола, их уничтожают всех и главного магистра в придачу, пролом в стене ликвидируют, трупы вывешивают на стены и показывают христианам непотребные части тела, хихикая по-мавритански.

- До чего жесток мавр, – процитировал Бельбо.
- Они совсем как дети, – грустно повторил Диоталлеви.
- Этих ребят бы к нам в студенческую дружину, – страстно сказала Долорес.
- Похоже на Тома и Джерри, – подытожил Бельбо.

Мне стало совестно. На самом деле я сожительствовал с тамплиерами вот уже два года и очень любил их. В угоду снобизму моих знакомых я вел свой рассказ действительно в духе мультфильма... А может быть, виноват был Вильгельм Тирский, злораднейший из историографов. На самом деле они не такими были, кавалеры Храма, бородатые, горячие, с огненным крестом на полотне покрывала, летящие на звонких конях под сенью черно-белого знамени, зовущегося Босеан. Они были великолепны, призванные на пир самопожертвования и смерти, и та патина пота, о которой мы знаем от святого Бернарда, вероятно, придавала бронзово-ярое благородство усмешке их ужасного лика... Львы на арене боя, как описывает их Жак де Витри, и нежнейшие агнцы в дни мира, лихие в бою, самоотверженные в молитве, безжалостные с врагами, внимательные к собратьям, избравшие черный и белый цвета для стягов, так как белый – цвет чистоты друзей Христа, а черный – немилосердие к неприятелю...

Милые поборники веры, последние истинные паладины на излете рыцарской эпохи, разве они заслужили, чтоб я над ними хихикал, как какой-нибудь там Ариосто? Вместо того чтобы стать их новым Жуанвилем. Мне вспомнились страницы о тамплиерах в «Истории Людовика Святого», сочинении, автор которого, воин и писец, ходил вместе с королем Людовиком в Святую Землю. К тому времени тамплиеры существовали уже более ста пятидесяти лет и крестовых походов уже состоялось предостаточно, чтобы разочароваться в каких бы то ни было идеалах. Развеялись как сон призраки королевы Мелисенды и Балдуина, прокаженного короля. На время стихли междоусобицы и распри в Ливане, где уже тогда земля горела под ногами. Уже однажды пал Иерусалим, Барбаросса утонул в Киликии, Ричард Львиное Сердце, разбитый наголову и покрытый позором, возвратился на родину, переодетый, кстати говоря, в накидку тамплиера. Христиане проиграли свою войну, а у мавров оказалось совсем иное представление о конфедерации политических субъектов, самостоятельных, но объединенных во имя защиты цивилизации: это были люди, читавшие Авиценну, никакого сравнения с примитивными европейцами. Возможно ли было в течение двух столетий, постоянно соприкасаясь с толерантной, мистичной, либертинской культурой, не поддаться ее обаянию – в особенности имея для сравнения культуру Запада, грубую, низкую, варварскую и германскую? В 1244 году Иерусалим пал в последний и окончательный раз, война, начавшаяся за сто пятьдесят лет до того, была христианами проиграна, и отныне им нечего было делать с мечом на мирных равнинах, в ароматной тени ливанских кедров, бедные мои тамплиеры, для чего, для кого все ваши жертвы?

В нежности, в грусти, в бледном отсвете одряхлающей славы – не склоняется ли слух к таинственным ученьям мусульманских мистиков, взор – к иератическому созерцанию потаенных богатств? Не тогда ли родилось легендарное представление о рыцарях Храма, до сих пор присутствующее в разочарованных, жаждущих умах, – повесть о безграничной могущественности, не знающей, на что бы ей употребить свою мощь...

И все-таки, хотя миф и погибает, и почти погиб, все же пришел Людовик, христианнейший король, беседовавший за трапезой с Фомою Аквинским, этот король верил еще в силу

креста, невзирая на то что два столетия войны были потрачены напрасно из-за глупости победителей, и стоило ли заново пытаться и тратить силы? Стоило, заявил Святой Людовик, тамплиеры пошли за ним и пошли за ним после поражения, это их ремесло, как может существовать храмовник помимо войны в честь Храма?

Людовик атакует с моря Дамиет, на вражеском берегу все сверкает и щетинится оружием, пики с алебардами, стяги со штандартами, враги имели величественный вид, пишет Жуанвиль с рыцарской вежливостью. Они имели оружие злата звонкого, и на этом злате переливалось солнце. Людовику бы погодить, он же решает десантироваться во что бы то ни стало. «Все, кто мне верен! Будем непобедимы, покуда неразлучны и исповедуем истинную веру. Если нас победят, станем мучениками. Если мы победим, слава Господня усилится». Храмовники думают не совсем так, но их воспитали как воинов, служащих идеалу, и они обязаны соответствовать воспитанию. Они пойдут за королем под всю эту мистическую ахинею.

Высадка, вопреки вероятию, проходит прекрасно, сарацины, вопреки вероятию, бегут из Дамиета, все это так странно, что король не заходит в город, потому что не верит в их бегство. Однако никакого подвоха, город в его власти, со всеми богатствами и с сотней мечетей, которые Людовик незамедлительно переоборудует в христианские храмы. Теперь надо решить важный вопрос: на Александрию двигаться или на Каир? Правильным ответом было бы: на Александрию, с тем чтоб отбить у Египта жизненно важный порт. Но у короля есть злой гений, его брат, Роберт Д'Артуа, с манией величия, с дикими амбициями, с жадной славой и с комплексом меньшого брата. Он советует идти на Каир, бить в сердце Египта. Тамплиеры, обычно сдержанные, становятся неуправляемыми. Король воспретил одиночные вылазки, тем не менее командующий храмовниками нарушает запрет. Завидев штандарт мамелюков султана, он вопит: «Вперед во имя Господне, ибо я не в силах выносить такого бесславы!»

Под Мансурой сарацины окапываются за рекою, французы запружают реку, чтобы форсировать ее, огораживают плотину крепостями на колесах, но сарацинам известно от византийцев искусство грецкого огня. У грецкого огня рыло толсто, как днище бочки, хвост его подобен копыю, он низвергается как гром и похож на дракона, летающего по небу. Из него просиявает такой свет, что на поле боя становится светло, как на рассвете.

Пока христианский лагерь полыхает, как сплошное пламя, один изменник-бедуин указывает королю брод за триста бизантов. Король решает атаковать, переправа непроста, многие тонут, и их уносят воды, на противном берегу ждут триста конных сарацинов. Но вот наконец наши силы достигли берега, и согласно распорядку храмовники скачут в авангарде, им дышит в затылок Д'Артуа. Мусульманские кавалеристы бегут, тамплиеры поджидают остальное христианское воинство. Но граф Д'Артуа и его люди преследуют неприятеля.

Тогда храмовники, дабы не приять бесчестье, кидаются тоже вдогонку. Но прибывают они позднее, нежели Д'Артуа, который успел вскакать в лагерь врага и разнести его в щепки. Мусульмане бегут в Мансуру. Для Д'Артуа это как приглашение, и он снова гонится за бегущими. Тамплиеры пробуют отговорить его, брат Жиль, набольший военачальник Храма, убеждает, что Д'Артуа уже совершил свой героический подвиг, не имеющий равных среди всего содеянного в заморских землях. Но Д'Артуа, этот хлыщ с болезненным самолюбием, обвиняет тамплиеров в предательстве, более того, он заявляет, что если бы тамплиеры с госпитальерами работали получше, эти земли были бы завоеваны бог знает как давно, и вот он им наконец покажет, что такое настоящие солдаты. Слишком сильное оскорбление для ордена. Храмовники бросаются на штурм города, врываются, преследуют противника до противоположной окраины, и тут им в общем становится понятно, что повторяется роковая ошибка Аскалона. Христиане, и в их числе тамплиеры, провозились слишком долго, грабя дворец султана, неверные перегруппировались, снова напали на христианское войско, уже не на войско – на толпу мешочников. Неужели храмовники поддались ослеплению жадности? Нет, другие летописцы сообщают, что, перед тем как последовать за Д'Артуа в город, брат Жиль увещевал его про-

светленно и стоически: «Господин, я и мои собраты не имеем страха и последуем за вами. Однако знайте, что мы сомневаемся, и изрядно, в том, что вам и нам придется вернуться живыми». И действительно, Д'Артуа по соизволению Господню был умерщвлен и с ним многие смелые кавалеры и также двести восемьдесят рыцарей Храма.

Это страшнее, чем поражение, это срам. Но история не судит столь строго, даже Жуанвиль не пишет этого: вышло как вышло, в непредсказуемости – красота войны.

Под пером господина Жуанвиля многие подобные битвы, или потасовки, это как посмотреть, превращаются в балетные действия, с ритмичным смахиванием голов с плеч, и с ритмичными обращениями к милосердному Господу, и с пролитием слез королями, чьи верные слуги испускают последний вздох, и все это напоминает цветную кинопостановку, где над алыми попонами с золотыми позументами посверкивают щиты и сабли под желтым солнцем пустыни и на фоне кобальтового моря, и никто не ответит нам, так ли цветисто тамплиеры воспринимали свою ежедневную мясорубку.

Точка зрения Жуанвиля переменчива, то сверху вниз, то снизу вверх, все зависит от того, упал ли он с коня или снова на коне оказался, и в фокусе у него всегда какие-то частные эпизоды, общая драматургия боя ускользает, все сводится к отдельным дуэлям, имеющим почти всегда произвольный исход. Жуанвиль спешит на подмогу шевалье Ванону, турок бьет в него копьем, конь падает на колени, Жуанвиль летит кувырком через голову коня, подымается, в руке у него меч, и мессир Герард де Сиверей («Да отпустит Господь ему прегрешенья») зовет его укрыться в одном полуразрушенном доме, по ним буквально проходится целый взвод конных турок, наши герои встают невредимые, добираются до того дома, баррикадируются внутри, а турки пробуют достать их там своими копьями. Мессир Фридрих де Лупей поражен ударом сзади, «и ранение было таково, что кровь хлестала фонтаном, как из бочки, откуда вытащили затычку», Сиверея рубят наотмашь, и на его лице «нос ополз и оказался на губах». И далее в подобном духе, потом прибывает подмога, они покидают тот дом, перемещаются на другой участок, новая сцена, новые убитые и новые спасения в последнюю секунду, новые молитвы громким голосом господину святому Иакову. На этом фоне слышен крик доброго графа Суассона, в то время как он рубится: «Господин Жуанвиль, пусть эта сволочь орет что хочет, нам придется еще рассказывать об этом деньке, когда мы будем с дамами!» Король спрашивает известий о своем брате, окаянном графе Д'Артуа, и брат Генрих де Ронней, профос госпитальеров, отвечает ему, что «новости хорошие, поскольку вернее всего, что граф Д'Артуа попал в рай». Король отвечает, что слава Господу за все им ниспосылаемое, и крупные слезы катятся у него из глаз.

Не вечно плясаться балету, ангельскому и кровавому танцу смерти. Погибает великий магистр Вильгельм де Соннак, заживо сгоревши от грецкого огня; христианское войско, при великом смердении трупов и при скудости провианта, становится уделом скорбута, армия Святого Людовика разбита, короля измощдает дизентерия, до такой степени, что, не желая расходовать время, отведенное для битвы, он разрезает штаны на зад. Пал Дамиет, королева вынуждена переговариваться с сарацинами и выплачивает пятьсот тысяч турецких лир за спасение собственной жизни.

Бедой крестовых походов были недалёковидность и коварство. В оплоте иоаннитов, Акке, Людовику закатили прием как триумфатору и навстречу ему пожаловал весь город в порядке процессии, с попами и с дамами и с юношеством. Тамплиеры кое-что понимали в обстановке и попытались вступить в переговоры с Дамаском. Людовик узнает, негодует на самодеятельность храмовников, снимает с должности нового Великого Магистра в присутствии послон мусульманской стороны, великий магистр вынужден отказаться от слова, данного на переговорах. Он становится перед королем на колени, просит прощения. Тамплиеров нельзя упрекнуть, что они сражались плохо или не болели за дело; но король Франции унижает их,

чтобы утвердить собственную власть; и так же точно, чтобы утвердить власть, через пятьдесят лет его преемник Филипп II отправит тамплиеров на костер.

В 1291 году мавры входят в Акку и убивают всех горожан. Христианское царство в Иерусалиме оканчивается. Орден тамплиеров в этот период состоятельнее, многочисленнее и мощнее, чем когда бы то ни было прежде. Но тамплиеры, рожденные для сражений в Святой Земле, не могут больше оставаться в ней.

Похоронив себя заживо в великолепных капитанствах Европы и в Тампле Парижа, они все еще грезят о нагорье вокруг Иерусалимского Храма во времена их звенящей славы, с дивной церковью Святой Марии Латеранской, вотивными капеллами, пучками трофеев, вспоминают горячую возню в кузницах, в шорных лавках, кучи тканей, ворохи зерна, конюшню на две тысячи голов, беготню оруженосцев, адъютантов, турецкий палаточный городок, красные кресты на белых епанчах, коричневые подрясники служек, посланцев султана в грандиозных тюрбанах и в золотых шлемах, пилигримов, стройное движение сторожевых нарядов, курьеров, эстафет, и счастье ломящихся закровов, переполненных сейфов портового города, откуда разлетаются распоряжения и приказы и отправляются грузы по назначениям: замки родной страны, острова, прибрежные крепости Малой Азии...

Все кончено, мои бедные тамплиеры.

И тут я обнаружил, тем самым вечером, в «Пиладе», на стадии пятого виски, подносимого мне заботливой рукою Бельбо, что я, похоже, грезил наяву, однако же вслух и с чувством (стыд какой, Господи!) и что-то вещал собутыльникам, причем у Долорес страстно намокали глаза, а Диоталлеви, взбудораженный до предела двумя стаканами тоника, серафически возводил очи горе, а вернее сказать, к совершенно не сефиротному потолку забегаловки и бормотал: – Таковы они и были, души святые и души пропащие, ковбои и рыцари, ростовщики и полководцы...

– Они были своеобразные, – подытожил Бельбо. – А вы, Казобон, ведь их любите?

– Я пишу о них диплом. Кто пишет диплом о сифилисе, в конце концов полюбит и бледную спирохету.

– Ну просто как в кино, – сказала Долорес. – И все-таки я вас покидаю, мне еще надо размножить листовки на завтра, мы проводим демонстрацию на заводе Марелли.

– Везет же некоторым, – сказал Бельбо, усталым жестом погладил ее по голове и заказал, как он выразился, последний виски. – Скоро двенадцать, становится поздно. Конечно, не для взрослых, а для Диоталлеви. И тем не менее я хотел бы еще кое-что узнать, в частности о процессе. Когда, как, почему...

– Cur, quomodo, quando, – подхватил Диоталлеви. – Да, да, вот именно...

14

Утверждает, что за день до того он видел, как пятьдесят четыре брата его по ордену были возведены на костер, потому что не пожелали признаться в вышеуказанных заблуждениях, и он слышал, что они были сожжены, и сам он, не будучи уверен, что проявит должную крепость в случае, если его станут жечь, намерен признаться, из опасения смерти, в присутствии господ комиссаров и кого еще угодно, если бы его допросили, что все заблуждения, приписывавшиеся ордену, действительно имели место, и, когда был бы к тому побуждаем, сознался бы даже и в том, что убил Господа нашего Иисуса Христа.
Из протокола допроса Эмери де Виллье-ле-Дюка, 13.5.1310

Процесс тамплиеров полон недомолвок, противоречий, загадок и глупостей. Глупости бросаются в глаза прежде всего и своей необъяснимостью граничат с загадками. В те счастливые дни я еще думал, будто глупость порождает загадку. А недавно в перископе я, наоборот, предположил, что самые ужасные загадки, чтобы не выглядеть загадками, прикрываются сумасшествием. Наконец, в данный момент мне кажется, что мир – это доброкачественная загадка, которую наше сумасшествие делает ужасной, ибо старается разрешить ее исходя из собственных представлений.

У тамплиеров больше не было цели. Вернее говоря, они сделали целью – средства, они сосредоточились на управлении своими несметными сокровищами. Естественно, что централизующий монарх, такой как Филипп Красивый, относился к ним неприязненно. Мог ли он держать под контролем суверенный орден? Великий Магистр по рангу был равен принцу крови, он командовал армией, распоряжался необъятными земельными владениями, избирался как император и имел в своих руках неограниченную власть. Сокровища короны находились не в руках короля, а на хранении в парижском Храме. Тамплиеры были контролерами, распорядителями и администраторами текущего счета, формально принадлежащего королю. Они вносили на этот счет средства, снимали средства, играли на процентных ставках, вели себя как колоссальный частный банк, но с такими льготами и привилегиями, которыми располагают банки государственные... При этом казначей короля был опять-таки тамплиер. Подите поцарствуйте в такой обстановке.

Не можешь победить – объединяйся. Филипп попросился в почетные тамплиеры. Получил отказ. Обиду намотал на ус. Тогда он предложил папе слить тамплиеров с госпитальерами и передать новый орден под управление одного из его сыновей. Тут Великий Магистр ордена, Жак де Молэ, торжественно пожаловал на материк с Кипра, где он в то время проживал как монарх в изгнании, чтобы вручить папе меморандум, в котором как будто анализировал преимущества, но на самом деле в первую очередь выявлял недостатки подобного объединения. Без всякого стеснения Молэ, в частности, напирал на тот факт, что тамплиеры более богаты, нежели госпитальеры, и что при слиянии одни должны обеднеть для того, чтоб обогатились другие, что нанесет суровый ущерб состоянию духа его кавалеров. И Молэ выиграл первую распасовку начавшейся партии – дело отправили в архив.

Оставалось действовать клеветой. Тут у короля были на руках все козыри – сплетен о тамплиерах гуляло предостаточно. Что, по-вашему, думали об этих «десантниках» рядовые французы, видя, как те собирают дань с колоний и ни перед кем не отчитываются, не обязаны даже – теперь уже – рисковать своей кровью, охраняя Господен Гроб? Они, конечно, французы, но не вполне, они то, что сейчас называют «черноногие», а в те времена «roulains». Совершенно не исключено, что эти «черные» предаются восточному разврату, кто их знает:

уж не говорят ли между собой на языке арапов? По уставу они монахи, но для всех вокруг очевидны их развязные манеры, и вот уж сколько лет назад папа Иннокентий III принужден был бороться с ними буллой «О распущенности храмовников». Ими даден обет бедности, а сами роскошны, как наследственные аристократы, скарены, как нарождающееся купеческое сословие, и неукротимы, как команда мушкетеров.

Немного нужно, чтобы от брюзжания перейти к досадливым наговорам. Мужеложцы! Еретики! Идолопоклонники, обожающие бородатого болвана, взявшегося неведомо откуда. Явно только не из иконостаса богобоязненного христианина! Вероятно, они причастны секретам исмаилитов. Не исключено, что и водят шашни с ассасинами Горного Старца. Филипп и его советники подхватили эти сплетни и довели дело до суда.

За спиной Филиппа маячат его креатуры, Мариньи и Ногарэ. Мариньи – это тот, кто в конце концов наложит лапу на тамплиерское имущество и получит право управления им в интересах короны, вплоть до дня, когда оно должно перейти к госпитальерам, а до тех пор так и непонятно, кто снимает проценты с вкладов. Ногарэ, хранитель королевской печати (министр юстиции), – тот, кем разрабатывался сценарий знаменитого скандала в Ананьи, в 1303 году, когда Шарра Колонна надавал оплеух папе Бонифацию Восьмому и тот, не оправившись от унижения, скончался в течение месяца.

На сцену выходит некто Эскье де Флойран. Он был в тюрьме по неизвестному нам делу и дожидался высшей меры, и тут его подсадили в камеру к раскаявшемуся тамплиеру, также ожидавшему петли, и тамплиер поделился с ним леденящими душу признаниями. В обмен на отмену приговора и на некоторую сумму денег Флойран пересказал все, что слышал. А слышал он примерно те же побаски, которые были на устах у всех. Только в данном случае они оформились в виде следственного протокола. Король известил об этих сенсационных разоблачениях папу. В папской должности в тот год мы видим Климента Пятого, того самого, который переместил престол в Авиньон. Папа и верит и не верит, он, безусловно, учитывает, что тамплиеры – очень крепкий орешек. Наконец в 1307 году он вынужден дать добро на судебное расследование. Молэ об этом информируют. Он заявляет, что совершенно спокоен. Он продолжает участвовать, наряду с королем, в отправлении официальных церемоний – князь среди князей. Климент V тянет резину, королю кажется – что ради того, чтобы дать тамплиерам время свернуть дела. Но тамплиеры и не думают ничего сворачивать. Они продолжают пить и богохульствовать в своих капитанствах, они ничего не подозревают – вот, кстати, первая из загадок этой повести.

14 сентября 1307 года король рассылает запечатанные депеши всем бальи и сенешалям своего государства, требуя массовых арестов и конфискации имущества тамплиеров. От рассылки ордеров до операции, которая была проведена 13 октября, проходит месяц. Тамплиеры ничего не подозревают. Утром условленного дня они все оказываются в мешке и – еще одна неразгаданная загадка – сдаются, не пытаясь избежать ареста. Заметьте кстати, что в непосредственно предшествовавшие дни офицеры короля, дабы ни одна крупница добра не ускользнула от экспроприаторов, проводят полную инвентаризацию имущества тамплиеров, пользуясь совершенно неправдоподобными предложениями. А тамплиеры ничего, проходите, господин бальи, описывайте что хотите, чувствуйте себя как дома.

Папа, когда услышал о массовых арестах, попытался что-нибудь сделать, но было уже слишком поздно. Королевские пристава пустили в дело веревки и железо, и многие кавалеры, по применению пыток, начали каяться. Назад уж пути не было, полагалось передавать их в распоряжение инквизиции, инквизиторы в ту эпоху к огню еще не прибегали, но эффективная методология у них была. Покаяние приняло массовый характер.

И вот перед нами третья по очереди загадка. Конечно, верно, что пытка была применена, и довольно серьезно, так что тридцать шесть подсудимых от нее умерли, но ведь это были негниблемые люди! Привыкшие не тушеваться перед лютыми турками! Оказавшись перед про-

курором, все тушуются. В Париже только четверо рыцарей, из четырехсот, отказались давать показания. Остальные признавались во всем, в том числе и Жак де Молэ.

– В чем во всем? – спросил Бельбо.

– Они признавались именно во всем том, что требовалось прокурору. Очень мало чем отличаются одни показания от других, по крайней мере во Франции и в Италии. В Англии же, напротив, где прокуроры работали вяло, протоколы содержат все те же стандартные обвинения, но речь идет о лицах, не состоявших в тамплиерах, и в основном цитируются понаслышке. В общем, храмовники сознаются только там, где кто-то очень сильно хочет этого, и только в том, в чем хотят, чтоб они сознались.

– Нормальный инквизиционный процесс. Не первый и не последний, – заметил Бельбо.

– Однако поведение подсудимых нетипично. В главных пунктах обвинения утверждается, что рыцари во время инициации троекратно отрекались от Христа, плевали на распятие, разоблачались и были целуемы в нижние части спины, то есть, попросту говоря, в зад, а после этого в пуп и в рот, «поносно людскому достоинству», и предавались взаимному смыканию, как свидетельствует текст. Это оргия. Потом им показывали бородатого идола и они обожали его. Что же отвечают сами допрашиваемые на подобные обвинения? Жоффруа де Шарнэ, тот, которого сожгут на костре вместе с Молэ, говорит, что да, дело было, он отрекался от Христа, но лишь на словах, а не в сердце, и не помнит, плевал ли он на распятие, потому что в тот вечер все торопились. Относительно поцелуев в заднюю часть, это тоже было, и он слышал, как прецептор Овернский говорил, что естественнее сочетаться брату с братом, нежели осквернять себя с женщиной, однако лично он никогда себя не допускал до плотского греха с остальными кавалерами. Итак, в общем все оказываются виноваты, но у всех получается, что все делалось как бы понарошку, что никто на самом деле не придавал ничему значения, если кто и натворил дел, то не я, я просто не уходил из вежливости. Жак Молэ – не последняя спица в колеснице! – показывает, что, когда ему протянули распятие – плюнь-ка, – он плюнул мимо, на землю. Он соглашается, что инициационные ритуалы обстояли примерно так, как говорит господин судья, однако – вот незадача! – сам бы он не мог описать их в подробностях, потому что лично он не инициировал за свою жизнь практически никого. Еще один подсудимый допускает, что поцелуи действительно были, но он лично никого не целовал в зад, а только в рот, но другие его самого целовали и в зад, это правда. Некоторые признают даже больше, нежели требуется. Не только отрекались от Христа, но и утверждали, что Христос преступник, отказывали в девственности Деве Марии, а на распятие так даже мочились, и не только при обряде инициации, а и в течение всей Страстной недели, и не веровали в таинства, и обожествляли не только Бафомета, а даже и дьявола в кошащем обличье.

Столь же гротескный балет, хотя и не столь загадочный, отплясывается в это время королем и римским папой. Папа хотел бы взять следствие в свои руки. Король предпочитает сам подготавливать процесс. Папа хотел бы запретить орден только временно, наказать виноватых и восстановить первородную чистоту. Королю нужен одиозный скандал, он хочет, чтобы процесс скомпрометировал орден во всем его комплексе и чтоб результатом было окончательное уничтожение тамплиеров. Политическое и религиозное, само собой, но в первую очередь – финансовое.

Составляется документ. Настоящий шедевр. Магистры теологических наук утверждают: приговоренным нельзя позволять пользоваться услугами защитников, чтобы приговоренные не отреклись от показаний. Так как в протоколах допросов содержатся признания, нет нужды в открытом судеговорении. Король предпочитает закрытое заседание в отсутствие подсудимых. Добро бы у следствия имелись сомнения, а тут никаких сомнений нет. «К чему тогда защитник? для защиты признанных обвиняемыми злодейств? Ведь факты налицо, а значит, и преступление доказано!»

Но поскольку существует риск, что следствие ускользнет от короля и поступит в руки римского папы, король и Ногарэ инспирируют новое громкое дело, имеющее отношение к епископу Труа. Епископа обвиняют в чародействе по доносу некоего таинственного авантюриста Ноффо Деи. Впоследствии откроется, что Ноффо Деи оболгал епископа, и Ноффо Деи повесят. Но на данном этапе на епископа обрушиваются публичные обвинения в содомии, святотатстве и ростовщичестве. Те же вины, что и у тамплиеров. Вероятно, король желает показать гражданам Франции, что церковь не имеет морального права судить тамплиеров, поскольку сама запятнана подобными прегрешениями. А может, это просто психическая атака на папу. Темная история, игра разведок, полиций и секретных служб. Папу прижали, у него нет выхода, и с его позволения начинается суд над семьюдесятью двумя тамплиерами. Они подтверждают показания, данные под пыткой. Папа пытается обыграть и это: учитывая чистосердечное раскаяние, пусть их помилуют.

Тут происходит нечто новое (одна из ключевых проблем моего диплома). Стоило папе, превеликими трудами, отбить своих храмовников у короля – как неожиданно он отсылает их обратно. Никак я не могу понять, что же там у них стряслось в тот момент. Сначала Молэ берет назад все данные на допросах показания. Климент предоставляет ему возможность оправдаться и посылает трех кардиналов для контрольной проверки. 26 ноября 1309 года Молэ выступает с пламенной защитой ордена, отстаивает его чистоту, доходит даже до прямых угроз обвинителям. После этого с ним встречается посланный короля, Гийом де Плэзан, которого Молэ считает своим другом, и де Плэзан дает ему какой-то непонятный совет. 28-го числа того же месяца Молэ подписывает робкое, очень путаное заявление, в котором говорится, что он простой солдат, наукам не учен, и после того перечисляются заслуги храмовников, к тому времени сильно устаревшие: благотворительная деятельность, военные подвиги – покорение Святых Мест – и далее в этом роде. Не было печали, так тут вмешивается еще и Ногарэ со своими воспоминаниями о том, как орден поддерживал связи, и самые дружеские, с Саладином. Начинает пахнуть государственной изменой. Оправдания Молэ на этом допросе не выдерживают критики, чувствуется, что у человека за плечами два года тюрьмы, хоть кто превратится в тряпку... Хотя Молэ походил на тряпку уже на второй день после ареста!

Третий публичный допрос – в марте следующего года. Третий вариант поведения Жака де Молэ. На этот раз он отказывается отвечать перед кем бы то ни было, кроме самого папы.

Смена декораций, и мы присутствуем при эпилоге высокой трагедии. В апреле 1310 года сто пятьдесят тамплиеров требуют слова и выступают в защиту чести ордена. Они заявляют о пытках, которым были подвергнуты те, кто оговорил себя. Они опровергают все обвинения, доказывают их абсурдность. Но король и Ногарэ тоже знают свою профессию. Тамплиеры берут назад показания? Тем лучше, это характеризует их как опасных рецидивистов или же отреченцев – *relapsi* – самое страшное обвинение для той поры. Значит, они нагло отрицают то, что уже единожды признали перед судьями? Так вот, мы готовы простить тех, кто признал свои ошибки, но не тех, кто сознаваться не желает, отрекается от собственных признаний и утверждает, кощунствуя, что ему каяться не в чем. Сто пятьдесят кощунцов приговариваются к смерти.

Нетрудно представить себе психологическую реакцию прочих арестованных. Те, кто покался, останутся в живых и пойдут на каторгу; те, кто запирается или, хуже того, отрекается от признаний, пойдут на костер! Все пятьсот отреченцев, покуда живы, спешат отречься от отречения.

Расчет этих новоотреченцев был правилен. В 1312 году все, кто не признал вину, были приговорены к вечному заключению, а все сознавшиеся помилованы. Филипп был не кровожаден. Он только хотел уничтожить орден. Освободившиеся рыцари, ослабелые телом и душой после четырех или пяти годов тюрьмы, скрытно рассеялись по другим орденам. Им хотелось

только укрыться из виду. И это их исчезновение, это безропотное самоуничтожение легло в основу тогда же родившейся легенды об уходе тамплиеров в подполье.

Молэ продолжает настаивать на личной встрече с папой. Климент созывает собор во Вьенне в 1311 году. Молэ в нем не участвует. На соборе папа утверждает роспуск ордена тамплиеров и передает его имущество госпитальерам, а в порядке временного управления опеку над тамплиерским имуществом берет в свои руки сам король.

Проходит еще три года, в конце концов достигается соглашение с папой, и 19 марта 1314 года на паперти собора Нотр-Дам оглашается: шевалье де Молэ приговорен к пожизненному заключению. Выслушав приговор, Молэ ощущает укол гордости. Он уповал, что папа даст ему возможность оправдаться; его предали. Он сознает, что, если снова переменит показания, ему не миновать участи рецидивиста-отреченца. Что происходит в его сердце, после семилетнего ожидания суда? Одушевляется ли он примером героев ордена? Считает ли, что, чем влачить остаток жизни в неволе и бесчестье, лучше умереть сразу и хорошо? В общем, он публично объявляет о невиновности и собственной и братьев-тамплиеров. Единственный грех, нами совершенный, утверждает он, это что мы по малодушию возвели напраслину на себя.

Ногарэ потирает руки: публичное преступление требует публичной кары и окончательного приговора по ускоренной процедуре. Поступок Молэ повторяет и прецептор Нормандии Жоффруа де Шарнэ. Король выносит решение в тот же день: на стрелке острова Сите раскладывают костер. На закате Молэ и Шарнэ сожжены.

Легенда утверждает, что Великий Магистр перед смертью напроорочествовал разруху своим гонителям. И действительно, Папа, король и Ногарэ умерли в течение следующего года. Что касается Мариньи, он после смерти короля подозревался в растратах. Его враги объявили его чернокнижником и подвели под петлю. Уже тогда многие люди начали представлять себе Молэ как святомученика. Данте вторит общественному мнению, заклеив тех, кто преследовал тамплиеров.

Тут начинается легенда – история кончается. Один исторический анекдот рассказывает, будто незнакомец в тот день, когда гильотинировали Людовика XVI, вскочил на помост и кричал: «Жак де Молэ, ты отомщен!»

Что-то в этом духе я рассказывал тогда вечером в «Пиладе», хотя меня злостно перебивали.

Бельбо вмешивался с фразочками типа: «Простите, по-моему, это уже что-то из Оруэлла или Кестлера...» или «Знаем, довольно известная история о... как его там звали... в Китае во время культурной революции...». Диоталлеви однообразно философствовал, что история – учитель жизни. Бельбо в ответ: «Ты же каббалист. Каббалисты не верят в историю». Тот отбивался: «Именно каббалист. Все повторяется по кругу, история учитель, потому что учит, что ее нет. Но великую важность имеют пермутации».

– Так все-таки, – спросил Бельбо под конец. – Кто такие тамплиеры? В вашем изображении то это сержанты из фильма Джона Форда, то какие-то лаццарони, то средневековые рыцари с миниатюры, то банкиры при Господе Боге, специалисты по темным делам, то солдаты разбитого войска, то члены сатанинской секты, то узники совести... Что же нам думать?

– Именно поэтому вокруг них образовался миф. О них можно сказать все то, что вы говорите. А что такое католическая церковь, как вы объясните марсианскому историку? Те, кто гиб за веру, или те, кто жег еретиков?

– Но они делали все эти плохие вещи?

– Самое смешное, что их адепты, ну, неотамплиеры разных времен и народов, полагают, что да, делали. Основания этому изобретаются самые разные. Первая версия, что речь шла о голиардических шутках. Хочешь стать тамплиером, докажи, что у тебя кишка не тонка напле-

вать на распятие, и поглядим, испепелит ли тебя крестная сила. Вступая в нашу роту, доверься братьям душой и телом, а значит, дай поцеловать себя в задницу. Вторая теория, что тамплиеры тренировались отречься от Христа в ожидании, что их захватят сарацины и заставят отречься. Это объяснение идиотское: кто это готовится к пыткам, учась делать именно то, чего захочет палач? Третий вариант: тамплиеры, живя на Востоке, вступили в контакт с манихейскими еретиками, которые ненавидели крест, как орудие мучительства Господа, и проповедовали, что надлежит спасаться от мира и бороться с браком и деторождением. Эта идея стара. Она является общей для многих ересей первых веков христианства. Она разовьется в учение катаров. Действительно, солидная традиция видит в тамплиерах носителей философии катаров. В этом случае получает свое обоснование и фактор содомии, пусть даже только символической. Думаю, кавалеры Храма были знакомы с этими воззрениями. При их неразвитости они простодушно следовали духу противоречия и духу братства. Так создавался их внутренний фольклор, который выделял их среди прочих крестоносцев. Они относились к ритуалам как к обычаям дружбы. Не размышляли, какова подоплека этих обычаев.

– А этот их Бафомет?

– Действительно, во многих показаниях говорится о «фигуре Бафометовой». Но, вероятно, речь идет об ошибке первого писца. А если документы процесса фальсифицированы, понятно, каков механизм повторения ошибки и в остальных протоколах. В некоторых других местах упоминается Магомет («сей лик частью богов есть и частью Магометов»). То есть мы видим, что тамплиеры создали собственную синкретическую литургию. Кое-кто из свидетелей утверждал, что на соборных полагалось восклицать «Ялла!», что происходит от «Аллах!». Однако у мусульман не существует изображения Магомета. Откуда же берется у тамплиеров этот образ? В протоколах указывается, что многие видели Бафомета: кто – изображение головы, а кто – и всего тела с головою, из дерева, с курчавыми волосами, фигура покрыта золотом и всегда имеет бороду. Якобы следователи находят вышеописанных идолов и предъявляют их подследственным, однако от них не сохранилось ни единого образчика. В общем, их видели все и их не видел никто. То же самое с котом: кто-то запомнил его серым, кто-то рыжим, кто-то черным. Вы хорошо представляете себе допрос каленым железом? Видел ты кота во время инициации? Еще б не видеть, тамплиерские хутора, с их огромными закромами, которые надлежало стеречь от грызунов, кишели котами! В ту эпоху в Европе коты были не сильно распространены в качестве домашних животных, а вот в Египте они встречались очень даже часто. Весьма вероятно, что тамплиеры могли пускать котов в жилые помещения, вопреки обыкновению широких масс, среди которых кот считался зверем подозрительным. А фигуры Бафомета... Может, это были ларцы для реликвий в форме голов, в ту эпоху они встречались. Разумеется, существует концепция, что Бафомет имеет отношение к алхимии.

– К алхимии имеет отношение все, – убежденно выдохнул Диоталлеви. – Наверное, тамплиеры знали тайну изготовления золота.

– Чего там знать, – отпарировал Бельбо. – Войди в сарацинский город, зарежь всех детей и женщин и бери себе золота, сколько влезает в карманы. По мне, вся эта история сплошная неразбериха.

– Но главная неразбериха царил у них в головах. Какое им было дело до диспутов о доктринах? История знает кучу примеров подобных военных спецподразделений, которые выдумывают себе собственную мистику, собственные обряды и сами толком не понимают, что хотят сказать всеми этими жестами. Лишь в следующую очередь рождается эзотерическая интерпретация, согласно которой они отлично все понимали, являлись адептами восточной тайной мудрости, и даже целование в зад носило характер инициации.

– Пожалуйста, расскажите подробнее об инициационном характере задоцелования, – попросил Диоталлеви.

– Некоторые современные эзотерики предполагают, что тамплиеры основывались на положениях индийской философии. В этом случае целование в зад призвано было бы пробудить змею Кундалини, то есть космическую силу, которая обитает в нижнем отделе человеческого позвоночника, в сексуальных железах, и когда она пробуждена, она достигает пинеальной железы...

– Той, что у Декарта?

– Думаю, той. Далее она должна открыть во лбу у человека третье око, то, которое способно видеть во времени и в пространстве. Именно поэтому до сих пор продолжает разыскиваться секрет тамплиеров.

– Филипп Красивый должен был бы сжечь современных эзотериков, а не тех бедолаг.

– Да, но у современных эзотериков нет ни полушки.

– Чего только не приводится выслушивать, – заключил все это Бельбо. – Теперь я понимаю, почему эти тамплиеры такие любимцы моих психов.

– Я думаю, что это перекликается с позавчерашним сюжетом. Вся ситуация тамплиеров – это перекрученный силлогизм. Поведи себя по-идиотски – и останешься непроницаемым в веках. Абракадабра, Мене Текел Фарес, Папе Сатан, Папе Сатан Алеппе, каждый раз, как поэт или проповедник, вождь или колдун изрекают бессмысленную бормотню, человечество тратит столетия на расшифровку этого бреда. Тамплиеры останутся вечной загадкой благодаря своим мутным мозгам. За это им и поклоняются.

– Позитивистская интерпретация, – сказал Диоталлеви.

– Да, – отвечал я, – наверно, я позитивист. Путем крошечной хирургической операции на пинеальной железе тамплиеры могли бы стать госпитальерами, то есть нормальными людьми. Война губительна для мозговых извилин. Шум канонады, грецкий огонь... Стоит посмотреть на генералов...

Слово за слово, уже давно была ночь, Диоталлеви шатался, сраженный своей минералкой. Мы стали прощаться. Тогда мы не понимали, что началась наша игра – игра с грецким огнем, который и жжет и губит.

15

Герард де Сиверей сказал мне: «Сир, если вы рассудите, что от того нам не выйдет бесчестья, я пойду за подмогою к графу д'Анжу которого вижу там на поле битвы». Я отвечал ему: «Мессир Герард, полагаю, вы совершите дело чести, пойдя за подмогой ради наших жизней и подвергнув вашу собственную жизнь неизвестности».

*Жуанвиль. История Людовика Святого.
Joinville, Histoire de Saint Louis, 46, 226*

После наших тамплиерских бдений мы почти не виделись с Бельбо, только раскланивались в баре – я писал свой диплом.

Потом в один прекрасный день была объявлена антифашистская демонстрация. Их обычно объявляли университетские студенты, а участвовала вся прогрессивная интеллигенция в широком смысле. Полицейских согнали много, но вид у них был мирный. Типичная раскладка для того периода: налицо недозволенное шествие-демонстрация, но пока осложнений нет, полиция не вмешивается, а следит, чтобы левые не нарушали границ своей зоны обитания, ибо по негласной конвенции центральные районы Милана были поделены. С нашей, университетской стороны был заповедник левых, за площадью Аугусто и во всей зоне Сан-Бабила был район фашистов. Если залезали на чужую территорию, случались инциденты, в остальном отношения были договорные, как у укротителя и льва. Кажется, что на укротителя кидается свирепейший лев и что он умиряет его бичом или стартовым пистолетом. На самом деле лев прекрасно накормлен и накачан наркотиками перед выходом на арену и нападать не намерен. Как у всех животных, у него есть условная территория, за пределами коей может происходить что угодно, и это его не колышет. Укротитель нарочно ставит ногу на территорию льва. Лев рычит, укротитель машет хлыстиком и в это время убирает ногу с территории льва. Лев утихомиривается. Симуляция революции проходит по четким законам.

Я пошел к университету на демонстрацию, но не пристал ни к одной группе. На площади Санто-Стефано прогуливались компании журналистов, издательских людей и художников: бар «Пилад» в полном составе поддерживал демократическое мероприятие. Бельбо был с дамой, с ней же я его часто видел в баре, потом она куда-то растворилась, куда – я узнал впоследствии, прочитав файл о докторе Вагнере.

– И вы тут? – спросил я.

– Что вы хотите. Все для спасения бессмертной души. *Crede firmiter et pecca fortiter*³⁰. Вам напоминает что-то эта декорация?

Я оглянулся. День был солнечный и яркий, из тех дней, когда Милан почти хорош со своими желтыми фасадами и металлическим небом. Полицейские перед нами выстроились в шеренгу, блистали щиты, и торчали пластиковые каски, солнце отскакивало от них, как от стали, а комиссар в штатском, но с уставной трехцветной лентой через плечо гарцевал перед строем. Я оглянулся на голову процессии. Толпа покачивалась, ритм напоминал маршевый, неровная колонна была плотно сбита, изгибиста, как змея, и щетинилась палками, плакатами, лозунгами. Тут и там народ скандировал речевки. Вдоль колонны по бокам мелькали активисты. Лица их были обвязаны красными платками. Мельтешили пестрые рубахи, джинсы, бывшие в несметных передрыгах, просунутые в них ремни с устрашающими пряжками. Даже недозволенные средства ведения боя, которыми они махали, притворяясь, будто это смотанные знамена, казались мазками на ярких полотнах. Мне припомнился Рауль Дюфи и его веселая палитра. Постепенно от Рауля Дюфи мысли мои откочевали к Гийому Дюфэ. Я как будто

³⁰ Верь крепче и грехи сильнее (лат.).

оказался в средневековой миниатюре; в негустой толпе по сторонам колонны мне виделись дамы, наподобие андрогинов, ожидавшие великой рыцарской потехи, которая была им обещана наперед. Но в моем сознании все это пролетело слишком уж быстро, таща за собой некое иное воспоминание, не подвластное расшифровке.

– Взятие Аскалона? – переспросил Бельбо.

– Клянусь господином нашим святым Иаковом, мой добрый господин, – отвечал я ему, – это и впрямь поле крестовой брани! Твердо стою на том, что до заката нынешнего дня многим из этих воинов назначено войти в ворота рая!

– Так-то оно так, – сказал на это Бельбо. – Но кто у нас сарацины?

– Полиция явно тевтонцы, – продолжал я. – Поэтому мы, скорее всего, орда Александра Невского. Хотя насчет орды я куда-то не туда заехал. Посмотрите лучше на ту вон группу. Это верники графа Д'Артуа. Им не терпится вступить в поединок. Им невмочь потерпеть обиду. Вот они уже близятся к неприятелю и бросают неприятелю вызов!

Это начиналась заварушка. Не помню как, демонстрация вдруг пришла в движение. Боевики, с тряпками на лицах и цепями в руках, стали наступать на полицейский заслон, подаваясь к площади Сан-Бабила и выкрикивая что-то агрессивное. Лев нарушал демаркационную линию, и довольно решительно. Полицейские расступились. Из-за их спин высунулись водометы. Из толпы полетели первые гайки, булыжники. В ответ полицейская цепь, защищенная шлемами и щитами, двинулась вперед и активно заработала дубинками. Удары наносились нещадные. Толпа пришла в волнение. В этот момент сбоку, от площади Лагетто, послышался выстрел. Это могла быть проколовшаяся шина, могла быть петарда, а может, даже и самая настоящая предупреждающая стрельба из группы ребят вроде тех, кто через несколько лет перешел на регулярное употребление Питона-38³¹.

Так был дан сигнал к началу паники. Полиция полезла за пистолетами. Радостно дудел боевой горн. Наша толпа разделилась на две: те, кто собирался помахать кулаками, и те, кто считал свою обязанность выполненной. Я опомнился на бегу. Ноги несли меня по виа Ларга в бешеном страхе, что какой-либо контузящий предмет отправится мне вслед и, чего доброго, настигнет. Как ни странно, на одной скорости со мной перемещались и Бельбо, и его дама. Они неслись, но паники в них я не заметил.

На углу улицы Растрелли Бельбо придержал меня за локоть. – Поворачиваем, – сказал он. Я был удивлен. Широкая виа Ларга казалась спасительнее, там были люди, а сплетение улочек между виа Пекорари и архиепископским дворцом таило массу опасностей и в частности – налететь на полицейских. Но Бельбо дал мне знак к молчанию, повернул за угол, снова за угол, постепенно снизил скорость, и мы вынырнули уже шагом – а не бегом – на задах собора, где текла нормальная жизнь и куда не доносились отзвуки сражения, бушевавшего в двухстах метрах отсюда. Все в той же тишине мы обогнули Миланский собор и вышли на площадь перед фасадом у входа в пассаж. Бельбо купил мешочек овса и с серафически-благостным видом принялся кормить голубей. Мы ничем не отличались от прочих участников субботнего променада – я и Бельбо в пиджаках и галстуках, наша дама в униформе миланской синьоры: серый джемпер и нитка бус, жемчужных или под жемчуг. Бельбо представил нас друг другу: – Это Сандра. Знакомьтесь.

– Видите ли, Казобон, – начал после этого Бельбо. – Удирать нельзя по прямой линии. Взявши пример с Турина, с Савойцев, Наполеон распотрошил Париж и превратил его в сетку бульваров, что превозносится всеми как образец урбанистики. Однако прямые улицы прежде всего нужны для разгона толпы. При малейшей возможности и боковые улицы, как на Елисейских Полях, лучше строить широкими и прямыми. Стоит недосмотреть – например, в Латинском квартале, – вот вам, пожалуйста, парижский май шестьдесят восьмого. Никакая сила не

³¹ Пистолет, излюбленное оружие политических террористов.

способна удерживать под контролем переулки. Полицейские сами не хотят туда соваться. Если вы встречаетесь с полицейским один на один – по молчаливому соглашению оба улепетываете в разные стороны. Собираясь на публичное собрание в незнакомой местности, имеет смысл за день до того провести рекогносцировку.

– Вы проходили спецподготовку в Боливии?

– Технику выживания изучают в подростковом возрасте. Кроме случаев, когда взрослый человек вербует в десантники. Когда шла партизанская война, я находился в ***. – Он произнес название городка между Монферрато и областью Ланги. – Мы эвакуировались из города в сорок третьем. Гениальный расчет, чтобы наклепать на свою голову и облавы, и эсэсовцев, и перестрелки около дома. Раз вечером меня отправили за молоком на ферму. Ферма была на горе. И вдруг засвистело над головой, между вершинами деревьев: пиу, пиу-у. И тут я понимаю, что это с дальней горы, к которой я как раз направляюсь, жарят из пулемета по железной дороге, которая проходит в долине у меня за спиной. Инстинкт подсказывает: бежать или броситься на землю. Я допускаю ошибку, бегу вниз и через некоторое время слышу в поле с обеих сторон: чак-чак-чак. Это были не попавшие в меня пули. Тут-то я понял, что если стреляют с горы, с высокого положения, удирать надо навстречу стреляющим: чем выше взбегаешь, тем прямее траектория пули. Моя бабушка во время одного боя между фашистами и партизанами, перестрелка велась в кукурузе, оказалась на тропинке в этом кукурузном поле и поступила совершенно прекрасно, улегшись на землю на линии боя – самое безопасное место. Так она пролежала с десяток минут, вжавшись носом в землю, надеясь, что ни одна из сторон не начнет слишком сильно побеждать. Когда подобные примеры усваиваются с пеленок, формируются безусловные рефлекс.

– Значит, вы у нас герой Сопrotивления.

– Созерцатель Сопrotивления, – угрюмо поправил он. – В сорок третьем мне было одиннадцать, когда кончилась война – тринадцать лет. Слишком мало, чтобы участвовать, достаточно, чтобы смотреть и запоминать почти фотографически. Или чтобы делать ноги – точно как сегодня.

– Сейчас вы могли бы рассказывать запомненное, вместо того чтоб править чужие рассказы.

– Все уже рассказано, Казобон. Если бы мне тогда было двадцать, в пятидесятые годы я предался бы «литературе воспоминаний». Бог меня уберег, и когда я мог начинать писать, мне уже не оставалось другой дороги, кроме правки чужих писаний. А вообще, смешно сказать, я действительно мог бы заслужить расстрел в том пейзаже.

– От тех или от наших? – выпалил я и спохватился: – Простите, глупая шутка.

– Ничего не глупая. Сейчас я, конечно, знаю, от тех или от наших. Но это сейчас. А тогда, если честно? Промучиться всю жизнь из-за того, что не выбрал пусть даже ошибку, в ней хоть можно раскаиваться, – нет, из-за того, что не выбрал ничего, не имел возможности доказать самому себе, что ошибку бы не выбрал... Потенциально я мог стать предателем. Какое право могу я иметь говорить об истине и писать о ней для других?

– Одну минуточку, – перебил я. – Потенциально вы могли стать Джеком Потрошителем. Этого вы не сделали. Невроз и ничего более. Или для ваших самообвинений есть конкретные причины?

– Что называть причиной? Кстати о неврозах. У меня сегодня ужин с доктором Вагнером. Пойду на стоянку такси напротив Ла Скала. Идешь, Сандра?

– Доктор Вагнер? – повторил я, прощаясь с ними. – Собственной персоной?

– Да, он в Милане на несколько дней, и я надеюсь получить у него что-нибудь неизданное для сборника статей.

Значит, уже в те времена Бельбо виделся с доктором Вагнером. Интересно – в тот ли вечер этот Вагнер (ударение на последнем слоге) произвел над Бельбо свой сеанс психоанализа (бесплатно!), чего не осознали ни он, ни Бельбо? Или это случилось в какой-нибудь другой раз?

В тот день Бельбо впервые затронул тему своего детства в ***. Забавно, что это была сага о бегствах (почти что геройских, ибо память героизует) и что всплыла она в его душе, когда он вместе со мною, однако впереди меня, и совершенно не по-геройски, опять предавался тому же самому занятию – бегству.

16

После чего брат Стефан из Провэнса, приведенный перед судьями, на вопрос, намерен ли он отстаивать свой орден, ответил, что не намерен, а магистры, если они намерены, пусть отстаивают, он же до ареста пробыл в ордене только девять месяцев.

Протокол от 27.11.1309

Повести о других бегствах Бельбо, постыдных бегствах детства, я нашел в недрах Абулафии. Позавчера вечером, сидя в перископе, я вспоминал эти рассказы, в черных потемках, наполненных цепочками шуршаний, поскрипываний, попискиваний. А я ушептывал свой трепет: спокойнее, это только трепотня. Это музеи и библиотеки и старинные постройки так забалтываются по ночам. Это старые шифоньеры покряхтывают. Это рамы расседаются от предвечерней волглой стыни, и облупливается штукатурка, по миллиметру за век, и позевывает кладка. Ты-то не побежишь, уговаривал я себя. Ведь ты пришел, чтоб понять, что случилось с вечно бежавшим, решившим на этот раз не бежать – в безумии безрассудной (или безнадежной) отваги, – а шагнуть навстречу реальности. Сколько раз он по трусости откладывал эту встречу!

Имя файла: **Канавная**

Я бежал от полицейского наряда или от истории? И какая разница? Ходил на демонстрацию по моральному императиву или для того, чтобы снова попытать себя Великой Оказией? Попытка пытки? Настоящие Великие Оказии были упущены мной по малолетству или по старогодничеству, был негоден мой год рождения, род гождения, уродхождения негод... негодяя... О, я купил бы право самому стрелять в той кукурузе даже ценой застрела бабушки! А демонстрация? А с демонстрации я ухрюл опять же по поколенческим причинам: эти игры уже не мои. Может, следовало бы жертвопринестись, хотя и без подъема, чтоб доказать, что тогда, в кукурузе, я бы не сплеховал. Нужно хвататься за Лжеоказию, чтоб продемонстрировать, что в настоящей Оказии ты был бы на высоте? Из тех, кто сегодня получает по морде от полиции, конечно, имеются и такие.

Можно сподличать из-за того, что раж окружающих тебе кажется непропорциональным, а цель незначительной? Значит, мудрость оподляет. И поэтому упускаешь свою Оказию, потому что слишком занят ожиданием Оказии и мыслями о ней. Может, один раз моя Оказия все же состоялась и я состоялся в ней, но этого не понял? Справедливо ли всю жизнь угрызаться из-за своей подлости оттого, что родился не в ту пятилетку? Ответ: угрызается от своей подлости тот, кто подлецом действительно побывал.

А если бы и в тот раз я уклонился от Оказии, сочтя ее не своей...

Описать дом в ***, дом на холме, покрытом виноградниками, подпустить там сравнений всяких – холмы в форме женской груди и проч., и дорогу с холма, которая вводила в городишко, входя в который, вступая на камни окраинной улицы, эвакуированный мальчик оставлял радиус семейной защищенности и попадал в мир, населенный устрашающими и манящими Окраинными.

В команду Окраинных входили полудеревенские парни, немые и громогласные. Я был слишком городской. Но чтобы попасть на площадь,

где был газетный ларек и магазин культтоваров, и при этом не унижаться до совершенно кругосветного путешествия, должен был проходить либо мимо них, либо мимо Канавных. По сравнению с Канавными Окраинные были английские милорды. Живущие у канализационных стоков города, Канавные (настоящие люмпены) отличались вонючестью и агрессивностью.

Окраинные, попадавшие на территорию Канавных, подвергались поношению и избиению. Поначалу я не знал, что воспринимаюсь как Окраинный, но Канавные дали мне это понять. Я шел по их уделу, читая на ходу газетное приложение для юношества. Они загоготали. Я ускорил шаг, побежал, они за мною, они швыряли камни, один пролетел сквозь лист, я же продолжал на бегу держать перед собой приложение, оплот моего достоинства. Газета погибла, жизнь сохранилась. В тот день я решил породниться с Окраинными.

Я предстал перед синедрионом и был встречен похрюкиванием. В ту пору у меня была густая шевелюра, тяготеющая к прямостоячему положению, реклама сапожной щетки. Идеал, распространявшийся через кинематограф, модные картинки и положительный пример (в часы воскресного променада после церковной мессы), выглядел так: двубортный широкоплечий пиджак, усы и волосы покрыты слоем помады и прилегают к голове. Народное имя этого парикмахерского приема было «зачес». Я вожделем зачеса. На рынке по понедельникам я приобретал на суммы, пренебрежимые для фондовой биржи, но чувствительные для моего скромного кошелька, жестянки бриллиантина, пористого, как пчелиные соты. С этим орудием я проводил перед зеркалом часы за часами, втирая в волосы, прилепливая волосы к черепу, зализывая, примазывая и прислонивая их до состояния каски или, скажем, чепца. Потом я надевал на голову сеточку. Окраинные как-то раз подсмотрели мою сеточку и прокомментировали ее на своем хрипучем гуттуральном наречии, которое я понимал, хотя не говорил. В описываемый день, просидевши дома пару часов в сеточке, я осторожно снял ее, полюбовался на результат в зеркало и пошел на присягу верности. Когда я дошел до места, купленный на базаре бриллиантин начал утрачивать клейкость. Волосы медленно зашевелились у меня на голове. Окраинные были в восторге. Я все же попросил о вступлении в их ряды.

Как жаль, что я не мог высказать это на диалекте. Я был такой им чужой... Их предводитель Мартинетти выступил вперед – громовержец, жизнедавец... Он был необут. Для начала мне причиталась сотня пинков в задницу. Возможно, они заботились о пробуждении змеи Кундалини. Меня повернули лицом к стене, два маршала держали меня за руки. Мартинетти работал босой ногой с силой, с энтузиазмом, методично, бил плашмя, а не с носка, чтобы не поломать ногти. Бандитский хор отсчитывал ритм. Счет велся на диалекте. Потом они решили затолкать меня в клетку кролей, и я просидел там полчаса, пока они диалогизировали на своем жутчайшем диалекте. Выпустили меня, когда я заявил, что отсидел ногу. Я был доволен собой, так как сумел приладиться к дикарской литургии и в то же время сохранил достоинство.

В те времена в нашем *** стояли на постое тевтоны, они находились в расслабленном настроении, потому что о партизанах еще не было и слуху, шел конец сорок третьего года, начало сорок четвертого. Одним из наших первых походов был поход в сарай в обход часового, миролюбивого

лангобарда, глодавшего – о ужас! – бутерброд, мерещилось нам, и кровь леденела, – со смальцем и мармеладом. Группа захвата делилась на два отряда, первый отвлекал на себя часового, нахваливая его оружие, второй проникал в сарай через задние неохранные ворота и выносил несколько батонов тротила. Не думаю, чтоб тот тротил действительно шел потом в дело, но Мартинетти, я знаю, планировал взрывы пиротехнического назначения, и предполагаемая техника, как я сейчас понимаю, могла быть для нас смертельна. Потом немцы ушли, на смену им появились итальянские морские пехотинцы «Decima Mas». Их КПП был около реки, у перекрестка, где каждый вечер ровно в шесть часов из колледжа Заступницы Марии выходили ученицы и начинали расходиться по домам. Мы должны были убедить ребят из «Дечима» (большинство были призывники восемнадцати лет) принять от нас связку немецких ручных гранат (тех, которые с длинной ручкой) и взорвать их над рекой ровно в ту минуту, когда начнут появляться барышни. Мартинетти знал досконально, как надо связывать гранаты и как высчитывать, когда выдергивать предохранитель. Он поделился опытом с солдатиками, и результат был ослепителен. Столп воды взмыл ввысь, пересохшее русло оросилось, девки бросились врассыпную, мы надрывали от хохота пупки.

Любимым спортом молодежи с Украины было коллекционирование стреляных гильз и прочих археологических радостей, за которыми после Восьмого сентября уже не надо было далеко ходить.

Составлялись собрания касок, планшетов, подсумков, высоко ценились девственные пули. Чтобы добыть себе нестреляную пулю, полагалось действовать так: держа гильзу в руке, пулю просовывали в замочную скважину и с силой дергали; пуля из гильзы вынималась и была готова для коллекционирования. Затем из гильзы вытряхивался порох или закрученные соломки баллистита, порох змееобразно насыпался на какую-либо поверхность и поджигался с одного из хвостов. Гильза, тем более ценная, чем в лучшем состоянии находился капсюль, поступала в арсенал. Хороший коллекционер имел великое множество гильз и выстраивал их по цвету, материалу, форме и высоте. Пешками были гильзы от автоматов и короткоствольных английских «стенгов», кони и слоны представляли в виде винтовочных гильз (в основном от винтовок девяносто первого года, полуавтоматическую винтовку «Гаранд» мы увидели лишь после высадки американцев), а самым высоким классом, восхитительными боевыми башнями возвышались гильзы от пулемета.

В то время как мы предавались мирным играм, Мартинетти оповестил нас, что час настал. Картель был направлен Канавной банде и был Канавной бандою принят. Дуэль была назначена на нейтральном месте, за вокзалом. Сегодня вечером в девять.

Потянулся душный вечер, летний, утомительный, полный возбуждения. Мы оснащались страшными орудиями, искали дубье, которое удобно прилегало бы к ладони, распределяли по отделениям сумок и планшетов камни разной величины. Кое-кто махал кнутами, сделанными из винтовочных ремней, жуткая штука, если попадает к решительному человеку. В те предвечерние часы мы все ощущали себя героями, и я был первым из всех. О, это воодушевление перед атакой, терпкое, мрачное, великолепное, прощай, красавица, прощай... я пускай не вернусь, важно лишь, чтоб вернулись

ребята... и так далее, наконец мы пошли отдавать нашу юность, к чему нас призывали в школе в период до Восьмого сентября.

Мартинетти разработал хитроумную стратегию. Мы должны были перелезть через насыпь железной дороги и выйти к ним с тыла, практически уже победителями. Оставалось бы только добивать их из жалости.

В сумерках мы полезли на насыпь, карабкаясь по склонам и откосам, нагруженные пудами бульжников и дреколья. Выпрямившись на насыпи, мы увидели их, уже выстроенных в линию с вокзальными туалетами. Они стояли задрав головы и ждали, пока мы появимся. Нам оставалось только ринуться вниз, пока они не оправились от изумления банальностью нашего поведения.

Нам не давали водку перед атакой, но мы летели с гиканьем, как полагается, в самозабвении. Катарсис наступил за сотню метров до станции. Там начинались первые дома городишка, которые составляли собою хотя и жидкое, но все же сплетение переулков. И вот вышло, что пока самые из нас отчаянные рвались напролом на вражеские полки, я и – на мое счастье – еще некоторые замедлили шаг и укрылись за углами окраинных домов, наблюдая, как пойдет дело.

Если бы Мартинетти разделил нас на авангард и арьергард, мы действовали бы согласно долгу, ведь правда? Так вот, можно сказать, что произошла спонтанная реформировка подразделения. Бестрепетные впереди, боязливые позади. Из своего укрытия, причем мое было самым тыловым из всей группы, мы стали наблюдать сечу. Она не состоялась.

Сойдясь на дистанцию нескольких локтей, оба войска выстроились друг перед другом, скрежеща зубами, после чего генералы выступили вперед и переговорили. В этой Ялте было решено разделить мир на зоны влияния, создать коридоры для транзитных перемещений, по модели коридоров мусульман и христиан в Святых Местах. Взаимоуважение двух неустранимых воспрепятствовало неизбежности кровопролития (помоему, качественная восемнадцативечная фраза!). Так и разошлись.

Сейчас я убеждаю себя, что не полез в мордобитие, потому что это было бы слишком комично. Но это я сейчас себе говорю. Тогда-то я знал, что я просто трус.

Теперь вот еще более подло. Я не прекращаю себе говорить, что если бы тогда пробежался вперед с остальными, я ничем бы не рисковал, а всю оставшуюся жизнь провел бы более комфортно. Вместо того я не имел своей Оказии в двенадцать лет. Как не поймать первой эрекции, – значит, импотенция на всю жизнь.

Через месяц, когда по какому-то пустячному поводу Канавные с Окраинными столкнулись носы к носам и начали задираться и когда замелькали в воздухе комья окаменелой земли, я, не знаю уж, ободренный ли динамикой развития прошлой стычки, или алкающий мученичества, но только вышел прямо перед строем. Комьев было пущено очень мало, и все были безобидные, кроме моего. Тот, который попал мне в лицо, по-видимому, был с камнем внутри и разнес мне всю губу. Я помчался домой с воем, и мама пинцетом вытаскивала землю из раны у меня во рту. С тех пор у меня осталось затвердение во рту, на уровне правого нижнего клыка, и когда я трогаю туда языком, чувствую шероховатость, содрогание.

Эта шероховатость не отпускает мне грехи, потому что ниспослана за глупость, а не за храбрость. Я тычу туда языком, и что? И пишу все это. Но графоманство – не способ реабилитации.

После памятной ретирады в день демонстрации я не виделся с Бельбо около года. Я влюбился в Ампаро и не бывал более у Пилада, вернее, те несколько раз, когда я заходил с Ампаро к Пиладу, Бельбо там не было. Ампаро туда ходить не любила. Ее политический и моральный кодекс, несокрушимый как ее краса и почти что как ее гордыня, утверждал, что «Пилад» есть оплот демократического дендизма, а демократический дендизм в ее глазах выступал одной из скрытых, значит, и самых коварных, личин капиталистической идеологии. Весь тот год был дико прогрессивный, очень серьезный, страшно милый. Я даже находил время что-то делать для диплома.

Однажды я столкнулся нос к носу с Бельбо на набережной канала возле «Гарамона». – Вот это да, – весело начал он. – Любезнейший из тамплиеров! Мне как раз подарили один дистиллят незапамятной выдержки. И еще мне даны природой: картонные стаканчики, свободный вечер.

– Прекрасная зевгма, – оценил я.

– Прекрасный бурбон, залитый в бутылку, полагаю, еще до бостонского чаепития.

Не успели мы пригубить нектар, как Гудрун оповестила нас, что дожидается посетитель. Бельбо хлопнул себя по лбу.

– Совсем позабыл об этом типе, но, – заметил он с улыбкой, – это как раз ваш случай. Господин пришел по поводу книги, вы не поверите, о тамплиерах. Я его ликвидирую в две минуты, но вы должны подавать мне скальпели.

Точно подмечено. Это был именно мой случай. Я и заметить не успел, как оказался в ловушке.

17

Таким образом исчезли члены ордена Храма вместе с их секретом, – под покровом тайны жила их прекрасная надежда на некий земной град. Однако Абстракция, к которой были прикованы их усилия, продолжала в недостижимых краях свою недоступную жизнь... И не раз, в течение разных времен, она питала вдохновением те души, которые были способны воспринять его.

Виктор Эмиль Мишле, Тайна рыцарства.

Victor Emile Michelet, Le secret de la Chevalerie, 1930, 2

Человек с лицом из сороковых годов. На снимках в старых газетах, найденных мною в подполе, у всех было это лицо, видимо, из-за некалорийного тогдашнего питания. Щеки западали, обрисовывались скулы, глаза блестели лихорадочно и ярко. Такие лица в кадрах расстрелов мы видим и у жертв и у палачей. В те времена люди с одинаковыми лицами расстреливали друг друга.

Посетитель был одет так: темный костюм, белая рубашка, серый галстук. Переоделся в штатское, инстинктивно подумал я. Волосы подозрительной черноты, напомаженные, хотя умеренно, на висках зализаны, на макушке лысина. Лицо покрыто загаром и изборождено геройскими складками самого колониального вида. Бледный шрам тянется через левую щеку, от угла рта до уха. Черный длинный ус в духе Адольфа Менжу закрывает продолжение царапины, и видно только, что губа когда-то была зашита. Дуэль студиозусов – мензур? Или касательная пуля?

– Полковник Арденти, к вашим услугам. – Бельбо досталось рукопожатие, а мне легкий кивок, в соответствии с рангом, как младшему редактору.

– Полковник действительной службы? – спросил Бельбо. Арденти оскалил великолепную вставную челюсть.

– На пенсии или, если хотите, в запасе. По виду не скажешь, но я отнюдь не молод.

– По виду не скажешь, – отреагировал Бельбо.

– Вот. А за спиной четыре войны.

– Вы начали при Наполеоне?

– Я начал лейтенантом в Эфиопии – добровольцем. Затем капитаном – добровольцем – в Испании. Получил майора в новом африканском походе. В сорок третьем... Скажем так: встал на сторону проигравших и сам проиграл все, кроме чести. Нашел в себе мужество начать с нуля. Иностраный легион. Спецподразделение. В сорок шестом году – сержант, в пятьдесят восьмом – полковник под началом у Массю. Как видите, я часто выбирал сторону проигравших. Когда пришли к власти левые – де Голль, – я вышел в отставку. Жил во Франции. Благодаря прежним алжирским контактам, я открыл фирму импорта-экспорта в Марселе. Тот редкий случай, когда выбор оказался к моей выгоде... Сейчас живу на ренту и посвящаю все время своему хобби, выражаясь сегодняшним языком. В последние годы я занес на бумагу результаты работы. Вот они, – и вытащил объемистую папку, по-моему, красного цвета.

– Короче говоря, – подвел итог Бельбо, – исследование о тамплиерах?

– Так точно, – кивнул полковник. – Моя страсть с юношеских лет. Мы одной крови. Рыцари удачи, искавшие счастья за Средиземным морем.

– Господин Казобон занимается тамплиерами, прекрасно знает материал. Так что можете рассказывать.

– Настоящие герои. Их цель была – установить человеческий порядок у дикарей обоих Триполи...

– Их противники были в общем не такие уж дикари, – мягко возразил я.

– Вас когда-нибудь держали в плену магрибские мятежники? – последовал саркастиче-
ский вопрос.

– Пока нет, – парировал я.

Он пронзил меня взором, и я возблагодарил бога, что не служил в его роте. – Я хотел бы сразу поставить точки над *i*, – отчеканил он, обнимая папку. – Я беру на себя часть расходов по изданию и не собираюсь приносить вам убытки. Если нужны научные отзывы, я принесу. Только что, два часа назад, я встречался с крупнейшим специалистом по вопросу, он специально прибыл из Парижа. Он даст предисловие. – Встретившись с вопросительным взглядом Бельбо, он полуприкрыл глаза, давая понять, что имя эксперта будет названо в свой срок.

– Доктор Бельбо! – торжественно продолжил он. – Эти страницы содержат настоящую сенсацию. Получше американских детективов. Я обнаружил такие вещи... Важные вещи, но это только начало. И теперь я решился обнародовать все, что знаю, в надежде, что те, кто способен дополнить и разрешить головоломку, – откликнутся. Я решил закинуть приманку. И не могу терять время. Был человек, знавший то же, что и я. Он погиб... скорее всего, его убили, чтобы заткнуть ему рот. Я обнародую то, что знаю, двухтысячным тиражом, и после этого убивать меня будет непродуктивно. – И добавил после паузы: – Вы представляете себе обстоятельства ареста тамплиеров?

– Да, Казобон рассказывал нам, что они были захвачены врасплох и не сопротивлялись.

Полковник тонко улыбнулся: – Вот-вот. Хотя довольно-таки странно, что люди, превосходившие могуществом французского короля, дали так легко себя подловить и не знали в доскональности, что какие-то мерзавцы наушничают о них королю, а король все передает папе... Как бы не так. Мы имеем дело с планом. С очень хитрым планом. Предположите, что храмовники ставили себе целью завоевание мира и что они отыскивали источник неисчерпаемой власти, некий секрет, стойкий того, чтобы принести ему в жертву весь квартал тамплиеров в Париже, и все владения во французском королевстве, и в Испании, Португалии, в Англии и в Италии, и урочища в Святой Земле, и колоссальные денежные суммы. Король Филипп, безусловно, почувал опасность, иначе необъяснимо, для чего он уничтожил красу и гордость своих вооруженных сил. И тамплиеры, безусловно, узнали о том, что Филипп все знает, и поняли, что Филипп постарается их уничтожить, в связи с чем они решили, что открытое сопротивление бесперспективно, а для выполнения программы им требовалось время: то ли источник могущества надо было еще дополнительно расследовать, то ли задействовать его можно было только поэтапно... И тайный руководящий центр ордена тамплиеров, существование которого в наше время общеизвестно...

– Общеизвестно?

– Конечно. Как можно предположить, чтобы такая крепкая организация просуществовала столько веков без эффективного тайного руководства...

– Железный аргумент, – пропел Бельбо, косясь на меня.

– И железные выводы, – продолжал свою речь полковник. – Великий Магистр, разумеется, входит в совет тайных руководителей ордена, но он нужен им в основном в качестве отвода глаз. Готье Вальтер в труде «Рыцарство и тайны истории» пишет, что годом окончательной реализации Программы был намечен год двухтысячный! До тех пор храмовники решают перейти на подпольное положение, а для этого лучше всего, если орден в глазах всего мира перестанет существовать. Они принесли себя в жертву идее. Все, включая Великого Магистра. Конечно, многие приняли смерть. Скорее всего, они были назначены по жребию. Другие получили иные приказы – раствориться, прибегнуть к мимикрии. Что случилось с многочисленными рядовыми членами, с жившими в миру, со «стрельцами», со «стекольщиками»? Они составили собой человеческий материал будущего Братства свободных каменщиков. Об этом хорошо известно. В Англии же король якобы сумел противостоять давлению папы и спокойно

отправил тамплиеров на пенсию. А те якобы спокойно это восприняли и удалились на заставы доживать свой век. Вам кажется это логичным? Мне – нет. В Испании орден укрывается под новым именем – Монтесов. Ордена Монтесской Богоматери. Им ничего не стоило надавить на испанского короля. У них в сейфах денег было столько, что королю гарантировалось банкротство за неделю. Король Португалии тоже торговался недолго. Договоримся так, любезнейшие компаньоны, зовитесь не Рыцарями Храма, а Рыцарями Креста, и мне от вас ничего не надо. Посмотрим теперь в Германии. Один-два показательных процесса, чисто формально провозглашается запрет на тамплиеров, но тут же на месте есть превосходное прикрытие – тевтонский орден, государство в государстве, точнее, государство государств, по типу нынешней советской империи и не меньшего размера, которое досуществовало до конца пятнадцатого века, покуда не сшиблось с монголами – но тут уже начало новой повести, современной повести, монголы до сих пор с мечом у наших границ... но не будем отклоняться...

– Не будем, – отозвался Бельбо. – Вперед, вперед!

– Вперед. Как опять же известно, за два дня до того, как Филипп скомандует брать всех, и за месяц до того, как всех действительно возьмут, из ограды Храма отправляется некий воз сена, влекомый волами в неизвестном направлении. Об этом читаем, в частности, у Нострадамуса в одной из центурий... – Он полистал папку. – Вот:

*Souz la pasture d'animaux ruminant
par eux conduits au ventre herbipolique
soldats cachés, les armes bruit menant...*³²

– Телега с сеном легенда, – сказал я. – А Нострадамус как исторический документ...

– Многие люди, в том числе и постарше вас, господин Казобон, с вниманием относились к пророчествам Нострадамуса. С другой стороны, я и не пытаюсь выдать свидетельство о возе за чистое золото. Этот воз – символ. Это символ того неопровержимого факта, что в преддверии близкого ареста Жак де Молэ передает руководство и все секретные инструкции своему племяннику графу де Божо и тот становится подпольным магистром подпольного, отныне, ордена...

– Имеются исторические свидетельства?

– История, молодой человек, – ответил полковник Арденти, и глаза его наполнились печалью, – пишется победителями. С точки зрения официальной истории люди, подобные мне, не существуют. Но они существовали, и под сенным камуфляжем скрывались лица, сумевшие восстановить свою организацию в глубокой тайне, в спокойном месте. Что ж вы не спрашиваете – где?

А ведь ему удалось нас зацепить. – Где? – вскрикнули мы, как один, вдвоем.

– Ладно, скажу вам. Где зарождается тамплиерство? Откуда происходит Гуго де Пейнс? Из Шампани, из-под Труа. И там же правит известный Гуго Шампанский, который через несколько лет после основания ордена, в 1125 году, присоединится к ним в Иерусалиме. Потом, по возвращении, он убедит аббата Сито приступить к обработке и переводам некоторых еврейских сочинений. Вообразите только! Бургундских ребя зовут в Сито к белым бенедиктинцам, и кто же зовет? Святой Бернарду, чтобы толковать какие-то тексты, найденные Гуго в Палестине. Гуго же предоставляет в распоряжение брата святого Бернарда целый лес в Бар-сюр-Об, и там будет построено аббатство Клерво. Что делал святой Бернарду?

– Поддерживал тамплиеров, – сказал я.

– А почему он это делал? Ведь при его помощи тамплиеры стали сильнее бенедиктинцев! Бенедиктинцам он запретил получать в дар земли и постройки, и эти земли и постройки

³² Под брашном, пожираемым скотом, и им влекомы, в чреве полнотравном таятся вои звучны копнем... (старофр.)

отходили к тамплиерам! Вы представляете себе Восточный лес около Труа? Там невообразимо что делается, капитанства, заставы! А тем временем вы знаете, что рыцари в Палестине перестают сражаться? Войдя в Храм, они, вместо того чтоб убивать мусульман, с ними подружались и вышли напрямую на тех, мусульманских посвященных. В общем, так: святой Бернард при экономической поддержке шампанских графов учредил орден, непосредственно завязанный на тайные арабские и еврейские секты Святой Земли. Я побывал там, куда не совался ни один ученый. Там, где тамплиеры правили свой бал в течение двух столетий, чувствуя себя как рыба в воде...

– Так говорил председатель Мао: революционер должен чувствовать себя в народе как рыба в воде, – вставил я.

– Правильно говорил ваш председатель. Но тамплиеры работали на настоящую великую революцию, не то что ваши коммунисты с косичками.

– Они теперь без косичек.

– Тем хуже для них. А храмовники, повторяю, могли искать себе укрытие только в Шампани. Но где – в Пейнсе, в Труа, в Восточном лесу? Нет, нет и опять нет. Пейнс – деревушка, один несчастный замок, где уж там прятаться. Труа – большой город, но в нем слишком много людей короля. Лес – по определению заповедник тамплиеров, там их стали бы искать в первую очередь, как потом и случилось. Нет, сказал я себе: Провэн! Если было место для них на этой земле, это место – Провэн!

18

Ежели бы мы были способны провидеть насквозь и узреть под землю всю ее глубь от остия полунощного до полуденного или же от наших ног и до самых антиподов, с ужасом видели бы: земля пронизана вдоль и поперек расщелинами и кавернами.

T. Burnet, Священная теория земли.

T. Burnet, Telluris Theoria Sacra, Amsterdam, Wolters, 1694, p. 38

– Почему Провэн?

– Вы бывали в Провэне? Волшебные места. Даже и сегодня еще чувствуется. Поезжайте. Да, волшебные места, до сих пор благоухают тайною. Между прочим, в одиннадцатом столетии это резиденция шампанских графов. И долгое время затем остается свободной зоной, где центральная власть практически не имеет силы. Тамплиеры там свои люди, даже сейчас там улица носит их имя. Церкви, дворцы, крепость, откуда простреливается вся равнина. Большие, большие деньги. Множество купцов. Устраиваются ярмарки. В этой суете легко запутать следы. Но самое главное в городе – известные с доисторических времен катакомбы. Сеть подземных ходов, пронизывающих собою всю гору. Многие из них открыты для посещения и в настоящее время. В этих пещерах, если назначается нелегальная сходка, слет или съезд, можно собираться спокойно. Когда за ними придут, заговорщики мгновенно покинут место встречи. Вынырнут из далекого лаза, вернуться в темноте бархатной кошачьей побежкой, и сядут на плечи пришельцам, и передуют как крысы! Это место для настоящих командос, судари мои, – кинжалы зажаты в зубах, ручные гранаты на поясе... – Глаза у него блестели. – Понимаете теперь, каким феноменальным укрытием является Провэн? Подпольная ячейка собирается в катакомбах. Люди в этом городе, даже если знают, не расскажут. Стражники короля побывали, как известно, в Провэне. Арестовали тех храмовников, которые находились на поверхности, доставили их в Париж. Рейно де Провэн молчал под пыткой. Безусловно, по секретному плану они позволили себя поймать. Чтобы показалось, будто чистка в Провэне проведена. Но в то же время они подавали и гордый сигнал: Провэн не удалось сломить! Провэн – это столица нового подземного ордена! Там туннели проложены под улицами из здания в здание. Входишь как будто в зерновой склад или на биржу, а оказываешься в храме. Эти галереи имеют колонны, каменные своды. В каждом здании верхнего города еще и сегодня можно наблюдать, что подвалы имеют арочные своды. Их там не меньше сотни, и каждый погреб, да что там, каждый отсек каждого погреба использовался как вход в подземелье!

– Гипотетически, – сказал я.

– Не гипотетически, господин Казобон. Не гипотетически, а практически. Вы не видели подземных галерей Провэна. Они состоят из сотен залов, и на стенах наскальная графика. Больше всего надписей имеется в боковых ответвлениях, которые спелеологи называют латеральными альвеолами. Это священные письмена друидического языка. Начертаны они еще до прихода римлян. Цезарь захватил эти земли, но недра земные он не захватил. Тут продолжалось царство сопротивления и магии. Тут был оплот. Есть и надписи катаров. Да, господа, катары были не только в Провансе! Провансальские катары были уничтожены, а вот шампанские сумели выстоять в великой тайне и укрывались здесь. В катакомбах гнездилась ересь. Сто восемьдесят три мученика сторели, остальные ушли под землю. В хрониках они фигурируют под именами bougres и manichéens, но ведь не случайно, что bougres назывались также и богومیлы, катары болгарского происхождения... Думаю, вы знаете значение bougre по-французски? Это имя изначально связано с содомией, так как традиционно полагают, что болгарским катарам был свойственен подобный уклон... – Он смущенно хихикнул. – А кому еще приписывался подобный уклон? Тамплиерам... Удивительно, правда?

– Удивительно до определенной степени, – сказал я. – В те времена всем еретикам, чтоб их сжечь, приписывали содомию.

– Да-да, я понимаю, не думайте, будто я подозреваю тамплиеров... Что вы! Они люди военные, а мы, военные, любим красивых баб. Пусть даже они давали обет безбрачия, мужчина всегда мужчина. Я привел этот аргумент, только чтоб доказать, что под крылом тамплиеров нашли убежище еретики-катары. И, конечно, они передали тамплиерам все секреты подземелий...

– В общем, – сказал Бельбо, – какой вывод из ваших предположений...

– Это предпосылки. Предпосылки моей работы. Именно так я начал заниматься Провэнном. И сейчас мы приближаемся к самому главному пункту. В центре Провэнна имеется большое готическое здание, так называемая Ла Гранж-о-Дим, что означает Десятинные закрома. Вы помните, что одно из главных преимуществ положения тамплиеров – право собирать десятинную пошлину, не делясь с государством. Под закромами, как и под всеми остальными зданиями города, много подземных галерей, в настоящее время совершенно заброшенных. Так вот, я работал в архиве Провэнна, и мне попала подшивка городской газеты за 1894 год. Вообразите, что в одном из номеров была заметка о том, как два драгуна, Камиль Лафорж, уроженец Тура, и Эдуар Ингольф, уроженец Петербурга (да, господа, Петербурга!), совершали экскурсию с гидом в подземельях Ла Гранж и, спустившись в один из подземных залов, на второй ярус, заметили, что шаги по полу звучат гулко. Согласно этой хронике, отважные драгуны тут же, обвязавшись веревками и зажав в зубах лампы, продираясь сквозь непроходимые лазы, проникли в большое боковое подземелье с камином и колодецем в самой середине. Спустив веревку с камнем в колодець, они намерили одиннадцать метров. Через неделю они возвратились с более прочными канатами и, в то время как гид со вторым драгуном страховали, Ингольф спустился в колодець и обнаружил еще одну большую палату каменной кладки, десять метров на десять, высотой пять. По очереди спускались туда и те двое добровольцев и исследовали эту палату на третьем уровне от поверхности почвы, на глубине тридцать метров. Что видели и что делали эти трое на дне колодца, осталось неизвестно. Репортер добавляет, что когда он сам посетил это место, ему не хватило смелости спуститься в колодець. История эта меня взволновала, и я ощутил горячее желание посетить то место. Однако за годы, прошедшие с конца прошлого века, многие подземные галереи обрушились. И если этот колодець когда-либо и существовал, теперь никто не знает, где его искать. Мне же запала в голову идея, что драгуны могли что-нибудь обнаружить там, в подземелье. Я незадолго до этого читал книгу о тайне Ренн-ле-Шато, связанной, в частности, с тамплиерами. Один кюре, нищий и без всяких перспектив, затевает ремонт в своей церкви – приходская церковь в деревушке населением двести душ, – поднимает плиту и находит сундучок, полный древнейших рукописей. Так говорит сам кюре. Но были ли там одни рукописи? Неизвестно. Мы знаем только, что в последующие несколько лет этот человек становится непомерно богат. Он швыряется деньгами, ведет распущенную жизнь, попадает под церковный трибунал... Что, если какой-нибудь из драгунов, или оба нашли нечто подобное? Ингольф спускался первым. Предположим, он наткнулся на какой-либо ценный предмет небольших габаритов. Он сует его под мундир и выходит. Тем, другим, ничего не сообщает... В общем, я человек упрямый, если бы не был так упрям, жизнь моя повернулась бы по-другому. – При этих словах он потрогал свой шрам. Потом провел рукой от виска к затылку, чтоб убедиться, что все волосы прилегают куда надо.

– Я направился в Париж, на центральный телефонный узел, и просмотрел справочники всей Франции в поисках фамилии Ингольф. Нашел только одного абонента, в городе Оксер, и написал туда как бы от имени археологического общества. Через две недели я получил ответ. Мне писала старая акушерка, дочь того самого Ингольфа. Она очень заволновалась, узнав, что я интересуюсь ее родителем, и более того, умоляла меня ради бога поделиться с нею всем, что мне известно. Как так? Я поспешил в Оксер. Мадемуазель Ингольф живет в маленьком домике,

опутанном плющом, с деревянной калиточкой, запираемой на гвоздь. Седая, прибранная, подтянутая старушка, довольно ограниченная. Она сразу стала расспрашивать, что мне известно о ее отце, на что я ответил, что знаю только об одной его подземной экспедиции в Провэне и что работаю над историческим очерком о тех местах. Она вне себя от изумления: понятия не имела, что отец когда-либо бывал в Провэне. В драгунах он служил, это правда, но оставил свою службу в 1895 году, то есть до ее рождения. Купил этот домик в Оксере и в 1898 году женился на местной девушке с небольшим приданым. Мать умерла в 1915 году, когда нашей мадемуазели было только пять лет. Что касается отца, то его не стало в 1935-м. Не стало в буквальном смысле. Он уехал в Париж, как уезжал регулярно не менее чем дважды каждый год, и с того отъезда не подавал о себе известий. Местное жандармское управление наводило справки в Париже. Он испарился. Выдали свидетельство о предполагаемой кончине. Вот, наша мадемуазель осталась одна и пошла работать, потому что отец оставил ей не так уж много. Разумеется, она не нашла себе мужа, и из некоторых вздохов я понял, что имел место роман, единственный за всю жизнь, и он кончился плохо. «И всегда со мною эта печаль, господин Арденти, эта постоянная грусть – ничего не знать о бедном папе, не знать, где находится его могила и есть ли она вообще на этом свете». Она охотно рассказала об отце: заботливый, спокойный, методичный и очень ученый. Целые дни он проводил в своем кабинете, наверху в мансарде, читал и писал что-то. Кроме этого, ковырялся в саду, время от времени разговаривал с местным аптекарем. Аптекарь тоже сейчас умер. Иногда Ингольф, как уже было сказано, навещался по делам в Париж. Каждый раз покупал в Париже книги. Книги до сих пор в его кабинете, можно посмотреть. Мы поднялись. Комнатка в чистоте, в порядке, мадемуазель еженедельно протирает там пыль. Маме она носит цветы на могилу, для папы может делать только это. Все в комнате точно так, как было при ее папе, жаль, что она мало училась, а то бы могла читать его книги, но все книги напечатаны на старофранцузском, на латыни, по-немецки и даже на русском языке; дело в том, что папа родился и провел свое детство в России, его отец работал во французском посольстве. Библиотека насчитывала около сотни томов, большая часть которых – к моему восторгу – относилась к следствию над тамплиерами, как, например, «*Monumens historiques relatifs à la condamnation des chevaliers du Temple*», автор Raynouard, 1813, антикварная вещь. Много работ о тайнописи – серьезное собрание по криптологии – несколько томов по палеографии и дипломатии. Была там и старая приходо-расходная книга, и, листая ее, я буквально подскочил, наткнувшись на запись о продаже ларца. Без подробностей, без имени покупателя. Стоимость сделки тоже не была указана, но имелся год – 1895, а далее подробные, точные записи о том, как этот аккуратный человек распорядился своим небольшим капиталом. Несколько записей о приобретении книг у парижских букинистов. Так все более прояснялась предо мной механика событий. Ингольф обнаруживает в крипте золотую шкатулку с драгоценными инкрустациями, недолго раздумывая укладывает ее за пазуху, выбирается на свет божий и товарищам ничего не сообщает. Дома он открывает ларец и находит в нем пергамент, это очевидно. Он едет в Париж, обращается к антиквару, к ростовщику, к коллекционеру, – в общем, продает ларец, и хотя не за полную цену, тем не менее он становится вполне состоятельным человеком. Но этого ему недостаточно. Он оставляет службу, переселяется на жительство в деревню и начинает покупать и читать книги, с тем чтобы разгадать пергамент. Наверное, в его душе издавна вызревала эта страсть – охотника за сокровищами. Иначе бы он не погружался на третий ярус катакомб в Провэне. И он достаточно подготовлен, чтобы попытаться открыть секрет найденного им клада. Он работает тихо, одержимо, скажем даже маниакально. Проходит более тридцати лет. Делился ли он с кем-либо тайной своей жизни? Неизвестно. Однако в 1935 году, скорее всего, он знал уже достаточно много или же, наоборот, оказался в таком тупике, что принял решение обратиться к некоему лицу, чтобы поделиться тем, что знает, либо чтобы спросить о том, чего не знал. Однако то, о чем он дознался, таинственно и ужасно. До такой степени, что человек, к которому он обращается,

уничтожает его... В любом случае, вернемся к мансарде. Прежде всего, я должен был понять, остались ли какие-либо следы работы Ингольфа. Я сказал той милой женщине, что надеюсь, просмотрев книги ее отца, найти какие-то следы открытия, сделанного им в Провэне, и тогда в моем исследовании его имени будет отведено заслуженное место. Она воодушевилась, бедный папа должен быть отмечен по достоинству, и мне было сказано, что я могу оставаться до вечера и возвратиться на следующий день, если, конечно, понадобится. Она принесла мне кофе, зажгла лампу и вернулась в свой сад, предоставив мне свободу действий. Комната имела стены белые и гладкие, в ней не имелось шкафов, сундуков, ларей, где я мог бы порыться. Но все, что в ней было, я проверил. Осмотрел сверху, снизу и внутри немногочисленную мебель, стоявшую там, а также платяной шкаф, почти пустой, в котором было всего несколько костюмов, за подкладкой которых – ничего, кроме нафталина. Ни за, ни под рамками трех-четырёх эстампов, висевших на стенах, тоже ничего не скрывалось. Не буду утомлять вас подробностями. Заверю только, что работал я на совесть. Например, мягкая мебель должна быть не только ошупана, но и исследована длинными иглами, чтобы удостовериться, что в набивке не присутствуют посторонние предметы...

Я подумал, что полковник явно обучался не только технике рукопашного боя.

– Оставалось обработать книги, переписать все их названия, проверить, нет ли в них маргиналий, подчеркиваний, каких-либо помет... И вот в одну прекрасную минуту я решительно потряхнул старый большой том в тяжелом переплете, и из него вылетел исписанный листок. По сорту бумаги – это был листок из тетради – и по чернилам можно было датировать документ как не слишком старый. Он, скорее всего, относился к последним годам жизни Ингольфа. Краем глаза я увидел запись «Провэн 1894» и был потрясен. Вы можете вообразить, какие чувства овладели мной. Я понял, что оригинал, пергамент, Ингольф увез в Париж, а дома оставил копию. Я не колебался ни минуты. Мадемуазель Ингольф протирала эти книги годами, но она никогда не видела листка – иначе бы о нем упомянула. Прекрасно, она его никогда и не увидит. Мир делится на тех, кто выигрывает, и тех, кто проигрывает. Я мою долю проигрыша уже получил сполна. Известно, как надо обходиться с удачей – хватать ее за чуб. Я отправил листок в карман. Я откланялся милейшей старой даме, сказавши ей, что ничего достойного не обнаружил, но что ее отца я упомяну, если соберусь написать что-нибудь, и она меня благословила на прощанье. Господа, человек действия, человек, пожираемый страстью, которая пылает в моей груди, не испытывает слишком больших моральных затруднений пред лицом серого и жалкого существа, обиженного природой.

– К чему оправдываться, – сказал Бельбо. – Взяли так взяли. Рассказывайте.

– Я покажу вам этот текст. С вашего позволения, ксерокопию. Не от недоверия. Чтобы не трепать оригинал.

– То, что переписал Ингольф, не оригинал, – сказал я, – а копия с предполагаемого оригинала.

– Господин Казобон, когда оригиналы все уничтожены, оригиналом становится последняя копия.

– Но Ингольф мог скопировать неправильно.

– Вы прекрасно знаете, что не мог. А я знаю, что записи Ингольфа передают истину, потому что в противном случае не вижу, что тогда должно считаться истиной. Следовательно, копия, сделанная Ингольфом, – оригинал. Есть у нас согласие по этому поводу или будем заниматься интеллигентским крохоборством?

– Только не крохоборство! – отвечал Бельбо. – Посмотрим вашу оригинальную копию.

19

После смерти Божо орден ни на минуту не переставал существовать, и нам известна с момента смерти Омона непрерывная последовательность Великих Магистров Ордена с тех пор и до наших дней, и даже если имя и местонахождение истинного Великого Магистра, так же как имена и местонахождение Истинных Старишин, управляющих орденом и заведующих его возвышенной деятельностью, остаются в секрете, открытом только для немногочисленных посвященных, содержащемся в глубочайшей тайне, это из-за того, что время ордена еще не настало и час еще не пробил...

Рукопись 1760 года, цит. по: Г. А. Шиффман,

Образование рыцарской степени в франкмасонстве в середине XVIII столетия.

G. A. Schiffmann, Die Entstehung der Rittergrade in der Freimauerei um die Mitte des XVIII Jahrhunderts,

Leipzig, Zechel, 1882, S. 178—190

Это была первая наша встреча с Планом. В тот день я мог бы оказаться в совершенно другом месте. Если бы в тот день я не встретился на улице с Бельбо, сейчас бы я мог... Мог продавать на базаре в Самарканде кунжутное семя. Готовить в печать издания классической литературы для слепых по Брайлю. Возглавлять филиал Ферст Нейшнл Бэнк на Земле Франца-Иосифа... Условно-противительные предложения с ирреальной посылкой всегда истинны, благодаря тому что предпосылка ирреальна. Но в тот день я был не где-нибудь, а там, так что теперь я действительно здесь.

Театральным жестом полковник выкинул на стол листок. Он до сих пор хранится среди моих бумаг, в целлофановой корочке, пожелтевший, полинявший по сравнению с тем разом – ксерокопии делались в ту пору на специальной термической бумаге. На листочке было две записи – сверху мелкая и частая, ниже что-то вроде стихотворения, строчки в столбик.

Первый отрывок содержал демонские заклинания на каком-то псевдосемитском языке:

*Kuabris Defrabax Rexulon Ukkazaal Ukzaab Urpaefel Taculbain Habrak
Hacoruin Maquafel Tebrain Hmcatuin Rokasor Himesor Argaabil Kaquaan
Docrabax Reisaz Reisabrax Decaiquan Oiquaquil Zaitabor Qaxaop Dugraq
Xaelobran Disaeda Magisuan Raitak Huidal Uscolda Arabaom Zipreus Mecrim
Cosmae Duquifas Rocarbis.*

– Я не все понял, – сказал Бельбо.

– Ах, не все? – ядовито переспросил полковник. – Да я бы всю жизнь просидел над этой штукой, если бы однажды, совершенно случайно, я не увидел на книжном развале книгу о Тритемии и мне не попался бы на глаза образец одного из шифров: «Pamersiel Oshurmy Demulson Thafloyn...» Это был след, и я начал копать в глубину. Имя Тритемия мне ничего не говорило, но в Париже я разыскал издание его труда «Стеганография (тайнопись)» – «Steganographia, hoc est ars per occultam scripturam animi sui voluntatem absentibus aperiendi certa», Франкфурт, 1606. Искусство открывать при помощи тайнописи секреты своей души далеким людям. Великолепная личность этот Тритемий. Бенедиктинский аббат из Шпаннгейма, живший на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков, ученый человек, знавший в совершенстве еврейский и халдейский языки, а также восточные языки, такие как татарский, имевший контакты с теологами, каббалистами, алхимиками, несомненно с великим Корнелием Агриппой Неттестеймским и, вероятно, с Парацельсом... Тритемий маскирует свои откровения относительно тайнописи с помощью туманных намеков на ритуалы некромантов. Он говорит, что следует составлять

шифрованные послания наподобие того, которое сейчас перед вашими глазами, а адресат в первую очередь должен будет вызывать ангелов, таких как Памерсиель, Падиель, Доротиель и прочие, и ангелы помогут ему понять истинное сообщение. Однако примеры, которые он приводит, сплошь и рядом представляют собой военные корреспонденции, а книга посвящается палатинскому графу и герцогу баварскому Филиппу и представляет собой один из первых учебников шифрования, того типа, которым пользуются в секретных спецслужбах.

– Но прошу прощения, – вмешался я. – Если я вас верно понял, Тритемий жил по меньшей мере сто лет спустя после даты составления записи, которую мы разбираем...

– Тритемий был членом Кельтского Единства, в котором изучались философия, астрология, пифагорейская математика. Улавливаете связь? Тамплиеры – секретный орден, наука которого восходит, в частности, к мудрости древних кельтов, что в наши дни не требует доказательства. Неудивительно, что Тритемию стали известны те же криптографические системы, которыми пользовались тамплиеры.

– Очень логично, – сказал Бельбо. – А расшифровка тайного послания, как она выглядит?

– Одну минуточку, господа. Тритемием опубликовано сорок больших и десять меньших криптосистем. Мне повезло, а может быть, тамплиеры из Провэна не стали особенно мудрить, будучи уверенными, что никто не подберет ключа к их шифру. Я попробовал применить первую же из сорока больших криптосистем, то есть отправился от гипотезы, что в этом тексте имеют значение только первые буквы слов...

Бельбо взял в руку листок и бросил взгляд на надпись: – Но и в этом случае выходит набор букв без всякого смысла: kdruuuth...

– Разумеется, – снисходительно процедил полковник. – Тамплиеры не собирались особенно мудрствовать, но они не были такими уж невероятными лентяями. Этот первый набор букв является в свою очередь очевидной шифровкой, и тут я моментально подумал о втором подразделе, о десятке меньших криптосистем. Видите ли, в этом втором подразделе Тритемий использует концентрические круги, и первый по порядку чертеж у Тритемия таков...

Он вытащил из своей красной папки еще одну ксерокопию, пододвинул стул поближе к столу и начал показывать последовательность чтения, касаясь букв закрытой шариковой ручкой.

– Это самая простая из всех схем. Смотрите только на внешний круг. Берем каждую букву исходного сообщения и заменяем предыдущей буквой алфавита. Вместо А пишем Z, вместо В пишем А и так далее. Для профессионального разведчика это детсадовский уровень, но в те времена считалось чуть ли не чернокнижием. Разумеется, для чтения используется обратный принцип и каждую букву шифровки надо заменять следующей буквой алфавита. Я попытался, и, повторяю, мне невероятно повезло – шифр был угадан с первой же попытки. Вот конспиративный текст.



И он написал фразу: «Les XXXVI invisibles separez en six bandes» – «Тридцать шесть невидимых, разделенных на шесть отрядов».

– А что это значит?

– На первый взгляд ничего. Это девиз, обрядовая формула, объявляющая об основании общества и записанная потайным языком, по ритуальным соображениям. В остальном же наши тамплиеры, будучи уверенными, что помещают свои записи в недостижимый тайник, ограничились французским языком четырнадцатого столетия. Вот перед вами второй текст.

*a la... Saint Jean
36 p charrete de fein
6... entiers avec saiel
p... les blancs mantiax
r... s... chevaliers de Pruins pour la... j. nc.
6 foiz 6 en 6 places
chascune foiz 20 a... 120 a...
iceste est l'ordonation
al donjon li premiers*

*it li secunz joste iceus qui... pans
it al refuge
it a Nostre Dame de l'autre part de l'iau
it a l'ostel des popelicans
it a la pierre
3 foiz 6 avant la feste... la Grant Pute.*

– Это, стало быть, нешифрованное сообщение? – спросил Бельбо и хихикнул.

– Совершенно ясно, что, переписывая текст, Ингольф ставил точки там, где не мог разобрать буквы или слова, то есть на тех местах, где пергамент был испорчен... И теперь, господа, я наконец ознакомлю вас с моей собственной версией, в которую введены конъектуры, осмелюсь заявить, блестящие и безупречные. Я сумел возратить древнему тексту его первоначальное великолепие. Вот он перед вами.

Быстрым жестом, как фокусник, он перевернул ксерокопию, и мы увидели несколько строк, написанных печатными буквами.

a la (nuit de) saint jean
36 (ans) p(ost la) charrette de foin
6 (messages) entiers avec sceau
p(our) les blancs manteaux
r(elap)s(i) chevaliers de provins pour la
(ven)j(a)nc(e)
6 foix 6 en 6 places
chacune foi 20 a(ns fait) 120 a(ns)
ceci est l'ordonnation:
au donjon les premiers
it(erum) les seconds jusqu'a ceux qui (ont?) pains
it(erum) au refuge
it(erum) a notre dame de l'autre part de l'eau
it(erum) a l'hotel des popelicans
it(erum) a la pierre
3 foix 6 avant la fete (de) la grande putain

– Я приблизил орфографию к нашему времени. Как видите, текст стал вполне постижим и означает следующее:

**В НОЧЬ СВЯТОГО ИОАННА
ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ ПОСЛЕ СЕННОГО ВОЗА
ШЕСТЬ ПОСЛАНИЙ ЦЕЛЫХ И С ПЕЧАТЯМИ
ДЛЯ РЫЦАРЕЙ В БЕЛЫХ МАНТИЯХ
УПОРСТВОВАВШИХ В ПРОВЭНЕ РАДИ МЩЕНИЯ
6 РАЗ ПО 6 В 6 КРАЕВ
ВСЯКИЙ РАЗ ПО 20 ЛЕТ ВСЕГО 120 ЛЕТ
вот план:
ПЕРВЫЕ ПОЕДУТ В ЗАМОК
ЗАТЕМ (ВНОВЬ ЧЕРЕЗ 120 ЛЕТ) ВТОРЫЕ СОЕДИНЯТСЯ
С ТЕМИ, КТО У ХЛЕБА
ЗАТЕМ СНОВА В УБЕЖИЩЕ
ЗАТЕМ СНОВА К НАШЕЙ ГОСПОЖЕ ЗА РЕКОЙ
ЗАТЕМ СНОВА В ПРИЮТ ПОПЛИКАН
ЗАТЕМ СНОВА К КАМНЮ**

3 РАЗА ПО 6 (666) ПЕРЕД ДНЕМ ВЕЛИКОЙ БЛУДНИЦЫ

– Светло как ночью, – подытожил Бельбо.

– Конечно, это нуждается в толковании. Но Ингольф, несомненно сумел разгадать все парады. Точно так же, как сумел я. Смысл менее загадочен, чем кажется, для тех, кто не новичок в истории этого ордена.

Повисло молчание. Полковник попросил стакан воды. Снова взялся за свою запись, начиная с первого слова.

– Итак. Ночью святого Иоанна, через тридцать шесть лет после сенного воза. Тамплиеры, избранные для сохранения секретов ордена, спасаются от ареста в сентябре 1307 года, укрывшись в повозке с сеном. В ту эпоху года отсчитывались от Пасхи до Пасхи. Значит, 1307 год кончается приблизительно тогда, когда, по нашим понятиям, была Пасха 1308-го. Попробуйте отсчитать тридцать шесть лет после конца 1307-го (то есть после нашей Пасхи 1308-го) – что это нам даст? Год 1344-й. Условленные тридцать шесть лет прошли, 1344 год настал, и грамоту торжественно поместили в крипту, укрыв в драгоценный ларец, в знак вечной памяти об основании тайного ордена, в ночь святого Иоанна – то есть 23 июня 1344 года.

– Почему 1344-го?

– Я полагаю, что с 1307-го по 1344-й орден переформировывался и вырабатывал программу, к исполнению которой было приступлено именно в день, указанный на этой хартии. Надо было выждать, пока обстановка придет в норму, а также установятся стабильные связи между тамплиерами пяти или шести стран. С другой стороны, тамплиеры выжидают именно тридцать шесть лет, а не тридцать пять или тридцать семь, потому что цифра тридцать шесть определенно обладает для них мистической силой. Это подтверждается и в зашифрованной записке. Внутренняя сумма тридцати шести составляет девять... Не знаю, должен ли я напоминать вам сокровенные значения этой цифры...

– Мне можно? – послышался из-за наших спин тихий голос Диоталлеви, бархатный, как побежка провэнских тамплиеров.

– Это из твоей оперы, – подвинулся Бельбо, освобождая место сесть. Он бегло представил нового собеседника, появление которого, кажется, вовсе не смутило полковника, жаждавшего многочисленной и внимательной аудитории. Он продолжил объяснение, а Диоталлеви впитывал, просто-таки исходя слюной от нумерологических разносолов. Крепкая, выдержанная Гематрия.

– Перейдем теперь к печатям, – продолжал полковник. – Шесть посланий под целыми печатями. Ингольф как раз и находит ларчик, вероятнее всего запечатанный. Кому же адресовались запечатанные ларчики? Белым Накидкам, то есть – тамплиерам. Затем мы видим в послании букву г, несколько вытертых букв, а затем s. Я предлагаю читать «relapsi». Почему? Потому что мы все знаем, что этот термин употреблялся для обозначения лиц, которые на процессе прежде каялись, а потом брали обратно показания. Фактор рецидива немало повлиял на тяжесть приговора в процессе над тамплиерами. Тамплиеры из Провэна носят прозвище отреченцев с гордо поднятой головой. Актом отречения они подчеркнули, что не желают иметь ничего общего с позорной комедией процесса. Итак, речь идет о relapsi из Провэна, готовых... к чему? Те немногие буквы, которые имеются в нашем распоряжении, подсказывают прочтение «vainjance» – к вендетте, к отмщению.

– Отмщение кому?

– Господа! Вся мистика тамплиеров, от дня суда и казни и до настоящего времени, фокусируется вокруг желания отомстить за Жака де Молэ. Я невысокого мнения о масонских ритуалах. Но и масоны, эта мещанская карикатура на рыцарственное храмовничество, как бы то ни было – тоже детища, хотя и выморочные, давней, древней идеи. Одна из степеней масонства по Шотландскому Обряду называется Рыцарь Кадош, по-еврейски это рыцарь мщения...

– Хорошо, тамплиеры готовятся отомстить. Что же происходит вслед за тем?

– Вслед за тем... надо нам понять, на какой период рассчитан план отмщения. Обратимся к шифрованному девизу, и он разъяснит нам нешифрованный текст. Пусть появятся шесть паладинов шесть раз в шести местах, итого тридцать шесть, разделенных на шесть отрядов. Потом говорится «Всякий раз двадцать», а потом идет что-то, что в передаче Ингольфа напоминает букву А. ANNO – год, всякий раз по двадцать лет, догадался я, что даст сто двадцать лет. Остальное сообщение содержит попросту список этих шести мест или же шести тайных заданий. Рыцарям дается ordonation – план, проект, информация к исполнению. Говорится, что первые должны будут следовать в донжон, или укрепление, замок, вторые еще куда-то, и так вплоть до шестых. Значит, документ оповещает нас о том, что должны где-то иметься еще шесть документов, охраняемых печатями, укрытых в различных местах. И мне кажется очевидным, что печати должны были вскрываться именно в указанном порядке, каждая через сто двадцать лет после вскрытия предыдущей...

– Но почему «всякий раз двадцать лет»? – спросил Диоталлеви.

– Рыцари мщения были призваны исполнять свою миссию каждые сто двадцать лет в предуказанном Планом месте. Таким образом запрограммирована своего рода эстафета. Понятно, что после Ивановой ночи 1344 года шесть кавалеров разъезжаются по шести концам земли, как предусмотрено в Плане. Но хранитель первой печати, естественно, не может оставаться в живых в течение ста двадцати лет. Значит, каждый хранитель каждой печати должен оставаться на посту двадцать лет, после чего передоверять свое служение следующему. Двадцать лет – разумный срок. Таким образом, у каждой печати чередуются шесть хранителей, из которых каждый несет стражу по двадцать лет, что является гарантией того, что в конце сто двадцатого года хранитель печати вскроет ее, прочтет инструкцию и передаст указания первому хранителю второй печати. Вот почему в документе употреблено множественное число, первые пусть едут туда, вторые сюда... Каждое место контролируется, скажем так, за сто двадцать лет шестью ответственными. Посчитайте: от первой до шестой печати имеется пять переходов, то есть должно пройти шестьсот лет. Прибавьте к 1344 шестьсот – и выйдет 1944. Это подтверждено, в частности, и последней строчкой. Ясно как день.

– Почему как день?

– В последней строке говорится: «три раза по шесть перед днем Великой Блудницы». Здесь, в частности, учтен нумерологический аспект, потому что внутренняя сумма 1944 дает как раз восемнадцать. Восемнадцать равно трижды шести, и это новое примечательное совпадение натолкнуло тамплиеров на еще одну тончайшую загадку. 1944 – год, когда должен увенчаться План. В предвидении чего? Разумеется, двухтысячного года! Тамплиеры полагали, что конец второго тысячелетия будет означать пришествие их Нового Иерусалима, Иерусалима земного, Антииерусалима. Они видели себя гонимыми как еретики – и в законной ненависти к официальной церкви сыдентифицировали себя с Антихристом. Кроме того, им известно, что 666 в оккультной традиции отождествляется с апокалиптическим Зверем. Год шестьсот шестьдесят шестой – год Зверя – для них это двухтысячный, в который наконец должно восторжествовать мщение за тамплиеров. Антииерусалим – это Новый Вавилон, и поэтому 1944-й – это год триумфа Великой Любодеицы, той самой, о которой говорится в Апокалипсисе! Отсчет на основании числа 666 – это, конечно, вызов, бравада отважных духом... Неординарное решение, вы согласны?

Он глядел на нас влажноватыми глазами, губы и усы увлажнились, руки поглаживали папку.

– Допустим, – сказал Бельбо. – Здесь указываются этапы исполнения Плана. Но какого?

– Вы слишком много от меня хотите. Если бы я знал какого – не забрасывал бы свою наживку. Я знаю только одно. Что в какой-то момент произошел сбой, и программа не завершилась, иначе, позвольте вас уверить, мы с вами об этом бы знали... Можно даже представить себе, почему План не состоялся. 1944-й был не самым простым годом, тамплиеры не могли

тогда предполагать, что мировая война так перепутает карты, затруднив перемещения и контакты между отдельными лицами.

– Простите, что я вмешиваюсь, – послышался голос Диоталлеви. – Если я правильно понял, после вскрытия каждой печати династия ответственных за нее не исчезает. Она продолжает свое служение впредь до вскрытия последней печати, поскольку тогда потребуется участие всех вообще представителей тайного ордена? И это значит, что каждое столетие, точнее каждые сто двадцать лет, в деле участвуют по шесть человек на каждое место, итого общей суммой тридцать шесть.

– Так точно, – подтвердил Арденти.

– Тридцать шесть кавалеров на каждом из шести постов составляют 216, внутренняя сумма этого числа равна 9. А так как столетий 6, умножим 216 на 6 и получим 1296, внутренняя сумма которого равна 18, то есть трижды шесть – шестьсот шестьдесят шесть...

Бельбо старался остановить Диоталлеви взглядом, но полковник, несомненно, уже признал в нем родную кровь. – Это чудесно, восхитительно, все, что вы сказали, коллега! Учтите также, что девять лежит в основании всего, потому что именно девять рыцарей основали ядро ордена в Иерусалиме!

– Великое Имя Господне, сжато переданное в тетраграмматоне³³, состоит из семидесяти двух букв, а семь плюс два составляют собой девять. Еще минуточку, если позволите. Согласно пифагорейской традиции, которую Каббала продолжает (вернее, которой вдохновляется), сумма нечетных чисел от одного до семи дает шестнадцать, а сумма четных от двух до восьми дает двадцать, что в сумме составляет тридцать шесть.

– Боже мой, коллега, – вибрировал полковник. – Я предполагал, я догадывался. Как вы мне помогаете, если бы вы знали... Я так близок к истине!

Так я и не понял, была ли для Диоталлеви арифметика верой или вера арифметикой, или же верно и то и другое – для атеиста, организовавшего экскурсию на седьмое небо... Он мог бы отдаться рулеточной религии (и было бы доходней) – а предпочел стать неверующим раввином.

Не помню уж, как мы вышли из положения, вмешался Бельбо со своим пьемонтским здравым смыслом, все вспомнили, что полковник не объяснил до конца остальные строчки, а было уже шесть вечера. Шесть, подумал я, вернее сказать, восемнадцать...

– Хорошо, – сказал Бельбо. – По тридцать шесть за раз, все эти кавалеры стараются открыть камень. Но что это за камень?

– Ну знаете! Это и спрашивать незачем. Разумеется, Грааль!

³³ *Тетраграмматон* (греч.) – произносимое четырехбуквенное имя Бога в Торе.

20

Средневековье ожидало героя Грааля, благодаря чему глава Священной Римской империи предстал бы образом и воплощением самого Властителя Мира...

Невидимый Император превращался в то же время в Императора воплощенного, а Серединная Эпоха... становилась также Эпохой Центральной... Невидимый, недостижимый центр, властитель, которому предстоит воскресение, образ героя-мстителя и восстановителя – это не фантазии мертвого прошлого, более или менее романтического; это истина тех, кто единственные в наше время сегодня могут по праву именоваться живыми.

Юлиус Эвола, Тайна Грааля.

Julius Evola, Il mistero del Graal

Roma, Edizioni Mediterranee, 1983, p. 23; Epilogo

– А, так тут не без Грааля, – вздохнул Бельбо.

– Разумеется. И это сказано не мной. Думаю, излишне напоминать здесь историю легенды о Граале, я имею дело с достаточно образованными людьми. Рыцари круглого стола, мистический поиск волшебного предмета, который в глазах одних представляет собою кубок, принявший в себя кровь Христа и доставленный во Францию Иосифом Аримафейским, в глазах других – камень, обладающий сверхъестественной силой. Часто Грааль описывают и в виде ослепительного света... Речь идет о символе силового поля, о какой-то энергии неслыханной мощности. Она способна питать организмы, залечивать раны, ослеплять, испепелять. Что это? Лазерный луч? Кое-кто предполагал, что Грааль – то же, что философский камень алхимиков. Но даже будь так, одно другого не исключает: что есть философский камень, как не символ источника космической энергии? Литература по этому вопросу необъятна, однако на первом плане прежде всего некоторые неопровержимые доказательства. Почитайте «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, и вы убедитесь, что Грааль в этой книге сберегается в замке тамплиеров! Может быть, Эшенбах был посвящен в орден? По неосторожности выболтал то, о чем следовало хранить тайну? Мало того. Этот охраняемый храмовниками Грааль определяется в книге как lapis exillis – камень, упавший с неба. То есть на самом деле возможны два толкования: упавший с неба – ex coelis или привезенный из изгнания – ex exilio. В любом случае доставлен он издалека. Были предположения, что Грааль – метеорит. В любом случае то, что нас интересует, сказано ясно: это камень. Чем бы ни был Грааль на самом деле, для тамплиеров он – и предмет и цель их Плана.

– Извините, – вмешался я. – По логике этого документа, там назначается последняя встреча около камня или на камне, а не предлагается найти камень.

– Еще одна хитроумная уловка и блистательная мистическая аналогия! Да, конечно, шестое свидание назначено на камне, и сейчас мы дойдем до этого места и увидим, о каком камне речь. Но на этом камне, исполнив все этапы Плана и взломав шестую печать, Рыцари узнают, где же находится их Камень! Учтем и евангельскую параллель – «Ты есть Камень и на этом камне...». На камне вы найдете Камень.

– Теперь мы понимаем, что иначе быть не могло, – подвел итоги Бельбо. – Рассказывайте же конец, прошу вас. Казобон, не надо перебивать все время. Очень хочется услышать конец этой истории.

– Так вот, – начал вновь полковник, – очевидная связь с Граалем навела меня на мысль, что сокровище, о котором идет речь, – это колоссальное хранилище радиоактивных материалов, может быть, занесенных с других планет. Подумайте, например, в той же самой легенде,

о таинственной ране короля Амфортаса... Больше всего напоминает физика, получившего облучение. И действительно, Граалья запрещено касаться. Почему? Подумайте только, какие чувства, должно быть, охватили тамплиеров, когда они достигли берега Мертвого моря. Вы, конечно, знаете, что вода в этом море тяжелая, смолянистая, тело болтается на поверхности, как пробка. Доказано целебное влияние этой воды. Они могли обнаружить в Палестине залежи радия или урана и осознали, что не в состоянии сразу же использовать их. Связь между Граалем, храмовниками и катарами была научно доказана одним немецким офицером. Кстати, человеком огромной личной храбрости. Его звали Отто Ран, оберштурмбаннфюрер СС, посвятивший всю жизнь кропотливому исследованию европейской и арийской природы Граалья. Не имеет смысла рассказывать, как и почему его жизнь в 1939 году оборвалась, но и тут есть место предположениям... Можно ли скинуть со счетов пример смерти Ингольфа? Ран проследил взаимосвязь Золотого Руна аргонатов и Граалья. В общем, совершенно ясно, как сопрягаются между собой мистический Грааль из легенды, философский камень и тот источник неограниченного могущества, к которому стремились люди, верные идеалам Гитлера, с самого кануна войны и до последней капли крови. Скажу вам еще, что в одном из вариантов легенды аргонаты наблюдают чашу – повторяю, чашу, – зависшую над Мировой Горой, где растет Дерево Света. Аргонаты находят Золотое Руно, их корабль чудодейственно переносится на Млечный Путь, в небеса Южного полушария, где в окружении созвездий Креста, Треугольника и Алтаря аргонаты торжествуют и утверждают световую природу Бога. Треугольник символизирует Троицу, Крест – высочайшее самопожертвование во имя любви. Наконец, Алтарь – это стол Вечери, несущий на себе Кубок Воскресения. Несомненно кельтское, чисто арийское происхождение этих образов.

Полковник, по-видимому, находился в той же самой геройской экзальтации, как та, которая довела до высочайшего самопожертвования его любимого оберштурмунддранга, или как его, к чертям, звали. Приходилось вернуть полковника к грубой действительности.

– Приблизимся к выводам, – предложил я.

– Господин Казобон, вы что, сами не в состоянии сделать выводы? Речь велась о Граале как о Люциферовом камне. Этот образ сближался с фигурой Бафомета. Грааль представляет собой источник энергии. Тамплиеры – хранители тайны неисчерпаемой энергии. Вот они и намечают свой суперсекретный план. Каковы их опорные пункты? Тут-то, уважаемые господа, – и полковник окинул нас многозначительным взглядом, как будто мы конспирировались с ним в одну шайку, – я расследовал одну версию, ошибочную, но нужную. Один сочинитель, который, надо думать, каким-то образом оказался в курсе некоторых тайных данных, по имени Шарль-Луи Каде-Гассикур (в частности, его сочинение имелось и в библиотеке Ингольфа), в 1797 году издал труд под названием «Гробница Жака де Молэ, или Тайна заговорщиков, стремившихся знать все». Он утверждал, что Молэ перед смертью основал четыре тайных общества – в Париже, в Шотландии, в Стокгольме и в Неаполе. Эти четыре ложи якобы имели своей целью уничтожить всех коронованных особ и свергнуть власть римского папы. Безусловно, Гассикур перегибает палку. Но я использовал общие очертания его идеи для того, чтоб установить, где же на самом деле тамплиеры собирались разместить свои опорные пункты. Я не мог бы разгадать загадки их завещания, если бы у меня отсутствовала руководящая идея! Вы это, конечно, понимаете! Но идея у меня была, и она состояла в уверенности, основанной на бесчисленных очевидных фактах, что природа храмовничества – кельтская, друидическая по происхождению – содержала в себе дух северного арийства, который по традиции обычно сопрягается с островом Авалон, центром подлинной гиперборейской цивилизации. Вы, конечно, знаете, что у различных авторов Авалон отождествляется то с садом Гесперид, то с Последней Туле, то с Колхидой Золотого Руна. И совсем не случайно, что самая почетная рыцарская награда в истории носит имя «Золотое Руно». Таким образом, становится понятно, что зако-

дировано под обозначением «донжон», замок. Гиперборейский замок, в котором тамплиеры охраняли свой Грааль, – то же самое, что Монсальват легенды!

Он выдержал паузу. Он хотел, чтоб мы впились в него выжидательным взглядом. Мы впились.

– Теперь второе указание. Хранители печати должны отправиться туда, где имеется некто или нечто, связанное с хлебом. Этот адрес сам по себе довольно ясен. Грааль – чаша с кровью Христовой. Хлеб – плоть Христа. Место причащения хлебу – место, где состоялась Тайная Вечеря, то есть Иерусалим. Невозможно допустить, чтобы тамплиеры после сарацинского завоевания не сохранили за собой в Иерусалиме тайные явки. Честно говоря, поначалу меня беспокоило вторжение иудейского элемента в План, выдержанный целиком в арийском духе. Потом же я, продумав эту позицию, пришел к заключению, что мы напрасно продолжаем представлять себе Христа порождением иудейской религиозности, как нам твердит римская церковь. Тамплиеры придерживались мнения, что Иисус – это кельтский миф. Евангельский рассказ – герметическая аллегория возрождения, приходящего на смену растворению в недрах земли, и так далее и тому подобное. Христос есть не что иное как Эликсир алхимиков. С другой стороны, как всем известно, Троица – арийское представление. И именно поэтому уложение храмовничества, составленное испытанным друидом, каким был святой Бернард, основывается на цифре три.

Полковник выпил большой глоток воды. Голос его звучал хрипло.

– Перейдем же к третьему этапу. Убежище. Тибет.

– Почему Тибет?

– Потому что прежде всего фон Эшенбах говорит, что тамплиеры оставили Европу и перенесли свой Грааль в Индию. В колыбель арийства. Убежище – это Агарта, местожительство правителя всего мира. Подземный город, в котором Старшины Мира определяют историю человечества и повелевают ею. Тамплиеры разместили один из своих опорных пунктов там, у самых источников собственной духовной силы. Вам известны взаимосвязи между царством Агарты и Синархией...

– Откровенно признаться, не вполне...

– Лучше для вас. Некоторые знания могут быть смертельны. Не станем отклоняться. Как бы то ни было, всем известно, что Агарта была основана шесть тысяч лет назад, на заре эры Кали-Юга, в которой мы пребываем до сих пор. Задачей рыцарских орденов искони было поддержание контактов с таинственным центром. Активный взаимообмен между мудростью Востока и мудростью Запада. И таким образом ясно, где намечалась состояться четвертая встреча. В другом святилище друидов, в городе Девы – то есть в Шартрском соборе. Шартр по отношению к Провэну располагается на другом берегу крупнейшей реки Иль-де-Франса – Сены.

Мы не поспевали за нашим гуру.

– Но каким образом попадает Шартр в ваш арийский друидический маршрут?

– А вы как думаете, откуда берет начало образ Приснодевы? Первые девственницы, появившиеся в Европе, это Черные Девы кельтов. Святой Бернард в молодости преклонял колена в церкви в Сен-Вуарле перед Черной Девой, и у той из сосцов выделились три капли молока и упали на губы будущего основоположника тамплиеров. Отсюда повелись романы о Граале как прикрытие для крестовых походов и начались крестовые походы как прикрытие для поисков Грааля. Что бенедиктинцы – духовные наследники друидов, это известно всем.

– Но где же находятся сейчас эти черные девы?

– Их убрали те, кому выгодно было извратить северную традицию и преобразить кельтскую религиозность в религиозность средиземноморскую, используя вымышленный миф о Марии Назарейке. Тех мадонн, что не удалось убрать, замаскировали, преобразили. Так были созданы черные мадонны, которые и в наши дни часто являются предметом массового

фанатичного поклонения. Если вы сумеете читать святые изображения в соборах, как умел их читать знаменитый Фульканелли, вы увидите, как явна взаимосвязь между кельтскими девами и алхимической традицией тамплиерского происхождения, которая видит в черной деве символ первородного вещества. Именно это вещество интересовало искателей философского камня, который в свою очередь, как мы уже знаем, не что иное, как Грааль. Призадумайтесь. Выученик друидов, Магомет, как он додумался водрузить черный камень в Мекке? В Шартре кому-то понадобилось замуровать крипту, которая ведет в подземную молельню, где до сих пор стоит древняя языческая статуя. Но если хорошо поискать, в том же соборе присутствует черная дева Нотр-Дам дю Пиллье, высеченная одним из каноников. Он верил в Одина. Статуя держит в руке магический цилиндр великих жриц бога Одина. Слева от нее высечен магический календарь, на котором некогда были изображены... эти вандалы, правоверные каноники, вечно перекраивают изображения и меняют их. Теперь там ничего не видно... Но некогда там были изображены священные животные единства: собака, орел, лев, белый медведь и вурдалак. С другой стороны, ни от кого, кто интересуется готическим эзотеризмом, не укрылось, что там же в Шартре одна статуя держит в руках чашу Грааля. Эх, господа, если бы мы читали Шартрский собор не в том свете, в котором его представляют католические, апостолические путеводители, а глазами Предания. Читали бы историю, которую рассказывает эта крепость Эрец...

– Но пора уже переходить к попликанам.

– Да. Катары. Один из терминов, означающих «еретик». Павликиане, или попликане. Провансальских катаров к тому времени уничтожили. Я не настолько наивен, чтобы верить в пресловутый слет на руинах Монсежюра. Однако секта не погибла. Мы располагаем всей географией подпольного катаризма, из которого вышли и Данте, и поэты Дольче Стиль Нуово, и секта «Преданных Любви». Значит, пятая назначенная встреча имела место где-то в северной Италии либо в южной Франции.

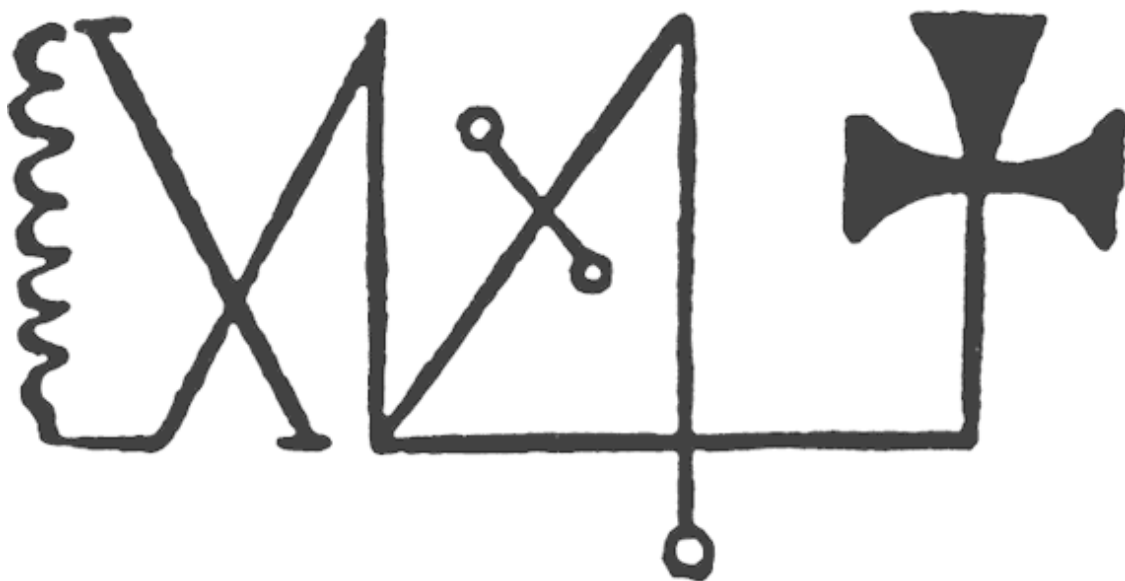
– А последняя?

– Камень? Что же это может быть, если не самый старый, самый славный, самый крепкий из всех кельтских камней, святилище солярных божеств, лучшая из обсерваторий, в которой соберутся для завершения Плана потомки провэнских тамплиеров и сопоставят, на своем великом съезде, все тайны, скрытые под всеми шестью печатями? И в конце концов откроют способ использования бесконечного могущества, которое связано с владением Святым Граалем? Конечно, это Англия, это магическая округность Стонхенджа! Что же еще?

– Видано ли! (O basta là) – вырвалось тут у Бельбо. Только другому пьемонтцу доступно все богатство переливов, которые вкладывает уроженец Пьемонта в это выражение вежливого удивления. Никакие эквиваленты на других языках и диалектах (non mi dica, dis donc, are you kidding) не передают тот царственный фатализм, с которым пьемонтец примет свою участь: продолжать диалог при полной убежденности в том, что его собеседник является непоправимой ошибкой природы.

Но полковник был не из Пьемонта, так что реакция Бельбо его порадовала.

– Да, представьте себе! Вот вам План, вот вам Приказ в его невероятной простоте, до чего просчитано! И еще доказательство. Прочертите на карте Европы и Азии их маршрут, от севера, где находится Замок, к Иерусалиму, от Иерусалима к Агарте, от Агарты к Шартру, от Шартра на берега Средиземноморья, а оттуда в Стонхендж. У вас получится вот такая руна.



– Ну и что? – спросил Бельбо.

– Это та же руна, которая в идеале связует все главные центры тамплиерского эзотеризма, Амьен, Труа, вотчину святого Бернарда, окраины Восточного леса, Реймс, Шартр, Ренн-ле-Шато, Мон-Сен-Мишель (это древнейший центр друидического культа). И подумайте! То же очертание имеет и созвездие Девы!

– Мое знакомство с астрономией очень дилетантское, – робко вмешался Диоталлеви, – но помнится, что Дева имеет иное начертание и состоит, если только не ошибаюсь, из одиннадцати звезд.

Полковник снисходительно засмеялся. – К чему эти придирки, господа. Всем вам отлично известно, сколь многое зависит от того, как провести линию, чтоб получился воз или медведица, и до чего тяжело бывает решать, должна ли звезда оставаться вне начертания или она будет частью созвездия. Перечертите заново Деву, включите в нее Колос в качестве самой нижней точки, в направлении провансальского берега, сократите число звезд до пяти, и вас поразит сходство этого созвездия с нашей руной.

– Только не перепутать, какие звезды надо выкидывать, – пробормотал Бельбо.

– Вот-вот, – радостно подтвердил полковник.

– Послушайте, – спросил тогда Бельбо, – почему вы исключаете, что встречи регулярно происходили и что рыцари уже приступили к своему делу, только нас об этом не поставили в известность?

– Нет, я не вижу признаков подобного, и позвольте мне добавить «к несчастью». Цепочка оборвалась; тех, которым было предназначено завершить ее, скорее всего, уже нет на этом свете. Отряды тридцати шести рассеялись в результате какой-то планетарной катастрофы. Но некая группа, некий отряд, располагающий правильной информацией, мне кажется, мог бы и подхватить оборванные судьбой нити. Я ищу правильных людей. Для этого я хочу опубликовать свою книгу. Чтобы стимулировать их активность. В то же время мне хотелось бы встретиться и с теми, кто способен помочь мне найти какие-либо подсказки в дебрях традиционной науки. Сегодня я встречался с крупнейшим экспертом по данному вопросу. Однако, увы, хотя речь идет о мировом светиле, он не смог сообщить мне ничего, хотя и явно заинтересовался моей работой и обещал написать предисловие...

– Но извините, – перебил его Бельбо. – Не было ли опасно делиться подобной тайной с этим господином? Вы ведь сами говорили о неосторожности Ингольфа и чем это кончилось...

– Помилуйте, – возразил ему полковник. – Ингольф был легкомыслен. Я же вышел на связь с лицом, находящимся вне каких бы то ни было подозрений. С ученым, который остерегается непроверенных гипотез. До такой степени, что сегодня он просил меня отложить встречу с издателями, не представлять материал, покуда в нем остаются хотя бы минимальные неясности или несоответствия... Я не хотел лишаться его симпатии и поэтому не сказал ему, что намерен посетить вас немедленно. Но вы, безусловно, поймете, что после множества лет труда я испытываю законное нетерпение. Это лицо... Ладно, отбросим недомолвки, назовем вещи своими именами, в противном случае вы можете подумать, что здесь пустое бахвальство. Так вот: мой собеседник был сам Ракоски.

И он обвел нас глазами.

– Кто? – переспросил Бельбо, обескураживая полковника.

– Как! Ракоски! Крупнейшее имя в традиционной науке, бывший директор «Журналь дю Секрет»!

– А-а, – промычал Бельбо. – Да-да, я слышал, Ракоски, конечно...

– В любом случае, я оставляю за собой право внести окончательные поправки в рукопись после серии консультаций с этим лицом. Но пока что, в намерении максимально сэкономить время, я предпочитаю завершить все предварительные формальные стадии с вашим издательством... Повторяю, время не терпит. Я должен как можно скорее опубликовать это! Вызвать ответные реакции, собрать данные... Есть люди, которые много знают, но молчат. Господа! Невзирая на то, что уже было известно, что война проиграна, как раз около 1944 года Гитлер заговорил о секретном оружии, которое позволило бы ему радикально изменить соотношение сил. Говорили, что он безумен. А если он не был безумцем? Вы следите за моей мыслью? – Лоб его был усеян потом, усы торчали как у кота. – В общем, – заключил он, – я заброшу наживку. Посмотрим, кто на нее спикирует.

По тому впечатлению, которое успело у меня сложиться, я мог ожидать, что Бельбо двумя-тремя вежливыми фразами избавится от него. Вместо этого я услышал:

– Знаете что, полковник, это мне кажется в высшей степени интересным. Нужно только подумать, что для вас продуктивнее – иметь дело с нашим издательством или с одной другой фирмой. У вас есть еще десять минут?

Затем Бельбо обратился ко мне:

– Мы продержали вас массу времени, Казобон. Большое вам спасибо. Давайте увидимся завтра, хорошо?

Меня выставляли. Диоталлеви подхватил меня под руку и сказал, что он тоже уходит. Мы распрощались. Полковник с жаром пожал руку Диоталлеви, а мне достался полупоклон и прохладная улыбка.

Пока мы спускались по лестнице, Диоталлеви прервал молчание: – Вы, наверное, удивились, когда Бельбо вас выпроводил. Не обижайтесь. Он просто должен сделать полковнику конфиденциальное издательское предложение. Конфиденциальность – главный принцип господина Гарамона. Я тоже не присутствую на подобных переговорах.

Как я понял впоследствии, Бельбо замыслил толкнуть полковника прямо в челюсти «Мануция».

Я повлек Диоталлеви к Пиладу, где заказал себе кампари, а Диоталлеви – ликер из ревеня, который он воображал почему-то напитком монашеским, архаичным и почти тамплиерским.

Я спросил, что он думает о полковнике.

– В издательства, – отвечал Диоталлеви, – стекается вся глупость мира. Но так как эта глупость осияна мудростью Всесоздателя, мудрецы наблюдают за глупцами со смирением. – И тут же начал прощаться.

– Меня ожидает пир, – сказал он.

– Идете в ресторан? – переспросил я.

Он явно был фраппирован моей легковесностью. – «Зогар»³⁴, – пояснил он. – «Лех Леха»³⁵. Доныне неистолкованный отрывок.

³⁴ «Зогар» (ивр. «Сияние») – центральный текст Каббалы, появившейся в XII в. в Испании, написан на арамейском языке в форме толкований к недельным разделам Торы (Пятикнижия). Его авторство до сих пор является предметом споров.

³⁵ «Лех Леха» (ивр. «Иди себе») – недельный раздел Торы (Бытие, 12:17).

21

*...des grâles, der sô swaere wigt daz in diu valschllich menscheit nimmer
von der stat getreit³⁶.*

*Вольфрам фон Эшенбах, Парцифаль.
Wolfram von Eschenbach, Parcifal, IX, 477*

Полковник мне не понравился, но запомнился. Можно ведь внимательно и с восхищением наблюдать, скажем, за гадюкой. Видимо, я впитывал тогда первые испарения яда, который, действуя много лет, отравил нас, довел до гибели.

На следующий день я зашел к Бельбо, поболтали о вчерашнем визитере. По мнению Бельбо, типичный буйный бред. – Как он говорил о своем Рокоссовском, Ростроповиче, вроде это по меньшей мере Кант?

– И бред начался бог весть когда, – добавил я. – Сначала один псих, Ингольф, уверовал в свою бумажку, а сейчас другой псих, полковник, верит в бумажку Ингольфа.

– Это было вчера. Во что он верит сегодня – не знаю. Скажу вам, что под конец я устроил ему встречу в одном солидном издательстве... не важно, в общем, там иногда публикуют книги за счет авторов. Он вроде был счастлив. Так вот, его прождали сегодня все утро, он не пришел и не позвонил. А у нас забыл свою драгоценную ксерокопию. Раскидывает тамплиерские секреты как фантики. Несерьезные люди нас окружают.

Именно в эту минуту звякнул телефон. Бельбо поднял трубку: – Да, я Бельбо. Да, это «Гарамон». Слушаю... Да, он был вчера вечером. Предлагал рукопись. Извините, проблема издательской этики. Если можете объяснить...

Несколько секунд он молча слушал, потом поднял глаза, бледнея: – Полковника убили или вроде того... – Затем вернулся к собеседнику: – Извините, это я Казобону, консультанту, он вчера был при разговоре... Да, полковник Арденти предлагал исследование, мне оно показалось довольно надуманным, о поиске мнимых сокровищ тамплиеров. Тамплиеры – средневековый рыцарский орден...

Он невольно загородил микрофон для конфиденциальности, но, встретясь со мной глазами, отвел руку. Тон его был неуверенный. – Нет, комиссар Де Анджелис. Этот господин только собирался писать книгу. Ничего определенного... Что? Вместе с ним, оба? Прямо сейчас? Ладно, говорите адрес.

Затем он повесил трубку и несколько секунд барабанил пальцами по столу.

– Вот что, Казобон, вы должны меня извинить, я не подумавши ввязал и вас в эту историю. Просто от неожиданности. Комиссар полиции Де Анджелис. Вроде бы этот полковник жил в пансионе, и кто-то утверждает, что видел его ночью в состоянии трупа...

– Утверждает? А что комиссар – не знает?

– Да, это странно, но комиссар не знает. Якобы нашли в его блокноте мои координаты и запись о встрече. Кажется, их единственный след. Поздравляю. Надо ехать.

Мы позвонили такси. В машине Бельбо взял меня за локоть: – Казобон, скорее всего это совпадение. Но в любом случае... в нашей деревне не любят называть имена. Помню одно рождественское представление на диалекте – волхвы спрашивают у пастуха, как зовут его хозяина. Он говорит: Джелиндо. В каждой пьемонтской деревне таких Джелиндо не меньше ста. Ну ладно. Когда хозяин узнает, что батрак сказал волхвам его имя, он колотит батрака и приговаривает: помни, каналья, имя нельзя открывать кому попало... Наверное, лучше не забивать

³⁶ ...Грааль до того тяжеловесен, что никому из грешных человекне поднять его вовек. (старонем.)

комиссару голову. Если вы не возражаете, полковник ничего нам не говорил ни об Ингольфе, ни о послании из Провэнна.

– Чтобы с нами не произошла тоже маленькая неприятность, – подхватил я, стараясь улыбнуться.

– Повторяю: чистая глупость с моей стороны. Но от некоторых вещей лучше быть подальше.

Я сказал, что согласен, но в глубине души волновался. Как ни крути, я учился в университете, время от времени участвовал в демонстрациях. Входить в отношения с полицией мне не улыбалось. Мы доехали до пансиона, не первой категории и далеко от центра. Нам сразу показали квартиру. Там номера назывались квартирами. На лестнице полиция. Поднялись в номер двадцать семь (два плюс семь – девять, автоматически отметил я). Спальня, коридор со столиком, угол для готовки, душевая без занавески, дверь была полуприкрыта, так что не видно, есть ли биде, но в подобных местах биде, вероятно, это первое и единственное удобство, которого требуют все клиенты. Обстановка жалкая, личных вещей мало, все перекопано и перевернуто – кто-то вывалил вещи в спешке из шкафов и чемоданов. Может быть, те же полицейские. Их, как в униформе, так и в штатском, я насчитал человек десять.

Навстречу нам двинулся достаточно молодой мужчина с достаточно длинными волосами. – Де Анджелис. Доктор Бельбо? Доктор Казобон?

– Я еще не доктор. Кончаю университет.

– Кончайте его, кончайте. Пока не защититесь, вас не возьмут работать к нам в полицию. Не представляете, как это увлекательно. – Вид у него был раздраженный. – Кончим, кстати, и с предварительными формальностями. Вот паспорт, принадлежавший жильцу этой комнаты, зарегистрированному как полковник Арденти. Вы его опознаете?

– Это он, – ответил Бельбо. – Но объясните, в чем дело. По телефону я не понял, он погиб или...

– Это я предпочел бы узнать от вас, – произнес комиссар, и лицо его передернулось. – Но вы, безусловно, имеете право на более полную информацию. Так вот, господин Арденти, именуемый себя полковником, въехал в пансион четыре дня назад. Вы, наверное, отметили, что здесь не Гранд-Отель. Есть швейцар, который уходит спать в одиннадцать, потому что жильцам выдаются ключи от входной двери, есть одна-две уборщицы, работающие по утрам, и старый пьяница, который носит чемоданы и клиентам выпить в номер, когда они вызывают. Пьяница, повторяю еще раз, и в придачу склеротик. Допрашивать его – дикая мука. Швейцар утверждает, что у того особое пристрастие к привидениям и что он уже напугал не одного клиента. Вчера вечером, около двадцати двух, швейцар видел, как Арденти возвратился в номер с двумя гостями. Здесь можно приводить хоть по дюжине трансвеститов. Так что два нормальных человека не вызвали никакого интереса, хотя швейцар утверждает, что заметил у них иностранный акцент. В половине одиннадцатого Арденти вызвал старца и заказал виски, бутылку минеральной и три стакана. Около часу, может быть в полвторого, старик услышал из двадцать седьмого, что кто-то обрывает звонок. Но судя по тому, в каком виде мы его застали сегодня, на отчетный момент старичина уже здорово наклюкался, причем какой-то дряни. Он якобы идет в номер, стучит, не отвечают. Он открывает дверь своей обычной отмычкой и видит беспорядок, а полковник лежит на кровати с вытаращенными глазами и с проволокой вокруг шеи. Дед удирает со всех ног, будит швейцара, ни тот ни другой снова идти туда не желают, хватаются за телефон, но он не соединяет... Утром сегодня линия снова работала превосходно... Но если верить тому, что они говорят. Швейцар бежит на угол в телефон-автомат и звонит в квестуру, в то время как старичок тащится на квартиру к врачу. В общем, они отсутствуют около двадцати минут, приходят обратно и сидят у себя внизу, перепуганные, доктор тем временем одевается и поспевает в пансион одновременно с машиной полиции. Все поднимаются в двадцать седьмой номер. Там на кровати никого нет.

– Как никого нет? – переспросил Бельбо.

– Вот так, трупа нет. После чего врач возвращается к себе домой, а мои коллеги обследуют то же, что видите и вы. Снимают показания с портъе и с этого старика. Куда девались двое, приходившие к Арденти? А кто их разберет, могли уйти и от одиннадцати до часу, никто бы не обратил внимания. Были они еще в номере, когда поднялся старик? А как можно знать, он пробыл одну минуту, не заглядывал ни в угол готовки, ни в уборную. Могли они уйти, когда эти два остолопа отправились за помощью, и вынести мертвеца? И это вполне возможно. К тому же имеется лестница, выходящая во двор, а из двора выезд на параллельную улицу. Но прежде всего, кто мне скажет, существовал ли на самом деле этот труп? Или полковник удалился до наступления ночи с двумя своими знакомыми, а остальное все старику приснилось? Швейцар твердит, что этому типу не впервой видеть призраков. И что несколько лет назад старик уже докладывал, будто видел одну постоялицу повешенной в голом виде, а через полчаса она спустилась из номера свежая как цветок, а на раскладушке старика был обнаружен садомазопорножурнал. Скорее всего, у него родилась великолепная идея подсмотреть за той дамой в замочную скважину и он увидел занавеску, развевающуюся на ветру. Единственный точный факт, которым мы располагаем, это что комната в ненормальном виде и что Арденти испарился. Вот я вам рассказал что мог. Теперь слово за вами, доктор Бельбо. Единственный имеющийся у нас след – этот листок, найденный под столом. 14–00, отель «Принц Савойский», господин Ракоски. 16–00, «Гарамон», доктор Бельбо. Вы подтвердили, что он приходил к вам. Теперь расскажите, как было дело.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.